

# РОМАН СЕНЧИН

Чего  
вы  
хотите?

От лауреата Премии  
Правительства РФ  
и финалиста премии  
«Золотой Дельвиг»!



Современный разночинец

Роман Сенчин

**Чего вы хотите? (сборник)**

«Автор»

2013

**Сенчин Р. В.**

Чего вы хотите? (сборник) / Р. В. Сенчин — «Автор»,  
2013 — (Современный разночинец)

ISBN 978-5-699-62860-5

В новой книге известного прозаика Романа Сенчина собраны три повести – одна из них, самая яркая и лиричная, написана от лица старшей дочери автора, по горячим следам событий на Болотной площади. В героях этой повести любопытный читатель без труда узнает оппозиционера Сергея Удальцова, скандального публициста Сергея Шаргунова и заглянет за кулисы повседневной жизни Сенчина – в его компьютер и даже холодильник. Героями двух других повестей стали диаметрально противоположные по духу мужчины: житель курортного городка без профессии, охваченный печоринской тоской и энтропией, и оренбургский летчик, исполненный гайдаровского героизма. В этом триптихе Сенчин фиксирует ближайшую по времени действительность, не приукрашивая и не замалчивая ничего. Он старается передать само дыхание жизни – для одних воскрешающее, для других мертвяще. И так создает образ сегодняшнего дня во всей его полноте.

ISBN 978-5-699-62860-5

© Сенчин Р. В., 2013  
© Автор, 2013

## Содержание

Зима	5
Чего вы хотите?	26
Глава 1	26
Конец ознакомительного фрагмента.	41

# Роман Сенчин

## Чего вы хотите? (сборник)

### Зима

Почти каждый день я совершаю традиционный и традиционно бесплодный обход города. Что хочу найти, я и сам не понимаю, но хожу и хожу и уже в сумерках, продрогший, злой возвращаюсь к себе.

Наш дом называют Серой кривой пятиэтажкой. Есть еще Голубая кривая – ее панели покрыты голубоватой облицовочной крошкой. Нашу строили на несколько месяцев позже Голубой, и, видимо, на нее крошки не хватило – стены светло-серые, словно бы слепленные не из раствора, в котором должен быть песок, щебень, а просто из цемента. И прочности у них никакой – ногтем можно расковырять. Может, действительно замесили цемент с водой и залили по-быстрому… Наш дом сдали весной девяносто четвертого, с тех пор десять лет ничего в городе не строили, кроме разве что частных коттеджей, да и из них мало какие довели – в основном торчат до сих пор этакие полуразвалины, заросшие травой и кустами: место для пацанских игр.

Дом стоит удобно – по соседству супермаркет, через дорогу парк, до моря два квартала, минут десять неторопливым шагом. Квартира на четвертом этаже, двухкомнатная, комнаты отдельные, не проходные… Правда, родителям пожить здесь довелось недолго. Отец, которому и давали квартиру (он двадцать лет проработал на прядильной фабрике), умер через год после переезда, а мать – через полтора. Рак обоих сожрал… От него многие в городе умирают, но об этом не принято распространяться – мы считаемся курортной зоной, летом здесь битком отдыхающих, а начни про рак трезвонить, наверняка перестанут ездить, и тогда нам всем быстрый и реальный каюк…

Родители умерли, и я остался единственным владельцем этих квадратных метров. Есть еще бабушкина хибара на Горе. Это далеко от моря, но Гора считается самым старым районом города. Там было одно из двух поселений, которые потом разрослись… Хибара ветхая и страшная, с мая по октябрь я в ней обитаю. Газ проведен, главное, и на улице колонка с водой.

В этой хибаре мы с родителями жили до переезда в Серую кривую пятиэтажку. Получив ордер, звали и бабушку – «задавит тебя здесь потолком», – но она отказалась: «Пускай лучше задавит, чем море смоет». Я долго не верил, что она всерьез боится моря, да и не она одна, а большинство старух и старииков на Горе. Посмеивался над полулегендой, согласно которой с тысячу лет назад случился страшный шторм, а может, и цунами какое-нибудь, и поселение рыбаков смыло вместе со всеми жителями. А люди, жившие выше – виноградари и пастухи, – уцелели, но гибель соседей произвела на них такое сильное впечатление, что и через сотни поколений море продолжало казаться людям с Горы опасным и враждебным…

Бабушка в центре города – то есть в низине – почти не бывала; моя мама, ее дочь, тоже никогда не рвалась туда, и если отец, уроженец дальней степной области, тащил нас на пляж, выискивала разные причины, чтоб не пойти.

Да, эта боязнь моря до недавних пор была мне дика и смешна, но почему-то теперь я всё чаще думаю о том, что это тупое накатывание волн и редкие, почти игрушечные штормы должны в конце концов смениться серьезным. Взбунтоваться, встать на дыбы… Наверное, множество людей ожидают и ожидали нечто подобное, но я жду с чем-то вроде радости. Как какого-то избавления. От чего? Я и сам не могу себе объяснить. Всё вроде нормально. Свобода, куча времени, денег в сезон заработать можно столько, что хватит на жизнь в оставшиеся пять месяцев

цев холодов... Только вот... Только вот пустота и тоска, такая тоска, что хочется, чтобы случилось что-нибудь пусть страшное, гибельное, но способное разбить пустоту и тоску.

Сейчас зима, февраль, и можно спать хоть круглые сутки. Но я просыпаюсь часов в пять. Долго пытаюсь забыться снова, устраиваюсь удобнее... Нет, подушка становится твердой, одеяло давит и душит. Во рту гниловатая сухость, глаза чешутся... Потом в голову начинают лезть мысли. Как провести этот день, чтобы не получился один в один как прошлый, и позапрошлый, и недельной давности, месячной... Февраль как январь, как декабрь, ноябрь... На несколько минут фантазирование чего-нибудь необычного увлекает и одновременно усыпляет, но тут приходят воспоминания о родителях, я начинаю представлять, что чувствовала бабка, пережившая свою dochь на три года, как она мучилась в одиночестве (я тогда навещал ее редко); я пытаюсь представить себя через десять лет, через двадцать. А в основном колют и царят мысли, не оформленные во что-то конкретное, – просто заливает мозг неприятным, гадким, разъедающим. Кислотой тоски. Именно тоски. Самое правильное слово – тоска, хоть и заболтанное, обесцененное. Но, бывает, услышишь от кого-нибудь вздох: «Тоска-а», – и ледяной судорогой сводит грудь, и тянет зареветь, как в детстве, когда тебя несправедливо обидели. Взяли и просто так, ни с того ни сего, для забавы или, хм, с тоски ущипнули, обозвали, ткнули...

Когда лежать уже невмочь, я сажусь на кровати, включаю телевизор, больше не для того, чтобы смотреть, а из-за мягкого света, который он излучает, и нахожу сигареты.

Курю, таращусь в экран, прочесываю дистанционкой программы... Повторы вышедших из моды сериалов, черно-белые советские фильмы, клипы малопопулярных певцов... Смотреть нечего, да и вообще как-то нечего смотреть – в какое бы время ни включал телевизор, какую бы программу, всегда тянет переключить на другое или вообще нажать красную кнопку.

Но нажму, и что останется? Неживая полутишина, тишина, рождающая мысли, от которых становится жутко. Пусть лучше это...

Давлю в пепельнице докуренную до фильтра сигарету, поднимаюсь.

Довольно тепло. Значит, на улице без ветра – при ветре, как бы ни грели батареи, в квартире зябко. Правда, рамы я не заклеиваю – лень возиться. Да и не помогает – от этих ветров только стеклопакеты спасают...

Ташусь в туалет. Позевывая, покашливая от горькой слизи в горле, мочусь. Спускаю воду. Белый маленький счетчик над бачком закрутил свою крыльчатку, красный валик справа стал менять цифры, отсчитывая потраченные литры... Черт, опять забыл плеснуть в унитаз воды из ведра! Вот же оно, рядом, и пластмассовый ковшик плавает... Изо всех сил стараюсь экономить – и постоянно срываюсь.

Но так как-то уютно, приятно становится, когда слышишь, как наполняется бачок, что-то там шипит и посвистывает...

Зажигаю на кухне колонку. Потом – плиту. Ставлю чайник... Электрочайники у нас не прижились – слишком много жрут электричества, а газ пока относительно дешевый. Да и вредны, говорят, эти электрочайники. Пластмасса. Пользуются ими в основном на работе...

Мысли, хоть и такие мелкие, ничтожные, как сейчас, разгоняют бесполезную, не перерастающую в сон дремоту; я двигаюсь быстрее, словно у меня впереди масса важных и срочных дел.

Пару раз обжегшись (отрегулировать воду невозможно), умываюсь, надеваю треники, стеганую рубаху. Делаю чашку кофе, пью перед телевизором. Мировые новости сегодня пресные, никаких катастроф. Фильмов интересных нет (кто их будет смотреть в половине шестого утра?), по MTV какое-то реалити-шоу вроде «Дома-2» – тоже молодняк делает вид, что пытается полюбить друг друга. То обнимаются, то матерятся и бесятся. Смотреть скучно... Сейчас я кажусь себе, в свои тридцать шесть, всё знающим, всё испытавшим стариком. Хотя что я

знаю, что испытал?.. Нескольких секунд поисков в своем прошлом хватает, чтобы меня скрутил новый приступ тоски. Ведь ничего, совершенно ничего особенного, ничего, за что бы зацепиться, посмаковать приятное или ужаснуться, когда я был на волосок от гибели...

Ровная жизнь. И даже смерть родителей мне иногда представляется не бедой, а благом. Сейчас бы давились здесь, в этой двухкомнатке, отец бы с матерью раз в неделю ругались из-за какой-нибудь мелочи (а точнее, из-за утомления друг другом, собой, собственным бездельем), и я бы наверняка ввязывался в их грызню... Полну таких семеек...

Но родители умерли, почти не мучаясь (обоих рак сожрал за несколько месяцев), и остали меня одного. Одного в этой квартире-кормилище. Я сам себе хозяин, что хочу, то и делаю, ни от кого не завишу, ни под кого не подстраиваюсь.

Только вот... Только невыносимо... Слабенькая бодрость, возникшая во время умывания, приготовления кофе, улетучивается, и я бессильно разваливаюсь в кресле, как переваренная рулька.

Нет, не надо! Вскакиваю, встряхиваюсь, хватаю сигарету, зажигалку. С пепельницей в руке хожу по комнатам, заворачиваю на кухню, оглядываюсь, будто ищу что-то важное. Сам не знаю что, но важное, способное помочь и спасти.

Остановился перед книжными полками... Я по несколько раз утром и вечером перед ними останавливаюсь. Внимательно смотрю на корешки... На самом деле всё читано-перечитано. Джек Лондон, Купер, Пикуль, Лермонтов, Скотт, трехтомник Александра Грина... Романтика, необыкновенные приключения, страсти и путешествия, сбывающиеся надежды... От воспоминаний о том, как жадно я поглощал всё это, становится еще хуже, и я отбегаю обратно к телевизору...

Покупать другие книги или брать в библиотеке не хочется, точнее, страшновато – неизвестно, что там найдешь, под обложкой. Да и что нужно искать в моем положении? В моем непонятном положении...

Иногда я прошу дать что-нибудь почитать Наташу, но не потому, что жажду именно читать, а чтобы поддерживать отношения с ней. Брать и отдавать книги – хороший повод встречаться, разговаривать, рассчитывать на нечто большее... Хотя с нечая большого у нас отношения и начались – секс в первый же вечер знакомства, – а потом пошли по нисходящей. Или наоборот, теперь они настоящие, а тот секс был приступом животности и отчаяния. Не знаю... Не знаю, не хочу анализировать, просто раза два-три в неделю прихожу в музей, где Наташа работает, и отдаю ей очередную книгу, беру другую.

Она пичкает меня Серебряным веком. В основном, конечно, стихами. Позавчера, например, дала толстенький том Марины Цветаевой. Я полистал, наткнулся на строки (уголок страницы с ними был загнут):

Захлебываясь от тоски,  
Иду одна, без всякой мысли,  
И опустились и повисли  
Две тоненьких мои руки, —

и захлопнул. Дальше читать желания не возникает. Распалять в себе эту мерзкую тоску, тем более при помощи стихов, – последнее дело. А она ведь там повсюду, тоска, в Серебряном веке. Везде про умирание, распад, тревогу... Мы с Наташей несколько раз спорили – ей, наоборот, такие стихи уверенность в будущем почему-то дают, – следующий спор может закончиться ссорой. Ссориться не хочу, боюсь. И так не с кем общаться... А до лета еще далеко.

Занимая голову подобными размышлениями, мучаясь и слегка как-то играя с этой мукой, я убиваю часа полтора. За окном светает, становится немного легче... Иду на кухню, чтобы приготовить завтрак. Точнее, найти, что там есть пожевать в холодильнике.

В кастрюле остатки сваренного дня два назад риса. Кусок вареной колбасы, кефир...

Ставлю на плиту сковородку, наливаю немного масла. Поджариваю колбасу, разогреваю рис. Посимпатичней выкладываю на тарелку, в рисе делаю углубление, лью туда кетчуп. Отрезаю кусок хлеба. Возвращаюсь в комнату.

По телевизору как раз региональные новости. Проблемы с отоплением, сложности на дорогах – гололед; а вот и наш город: какая-то пожилая рыхлая женщина плачет. Ей вручили бумагу, что нужно в течение десяти дней освободить комнату в рабочем общежитии. Комната аварийная. «И куда я?.. Куда я?» – задыхаясь, спрашивает она, потрясая листом... Потом журналистка берет интервью у пресс-секретаря администрации. «Никто на улице не останется!» – заверяет он.

Наверное, не останется. Но я начинаю представлять, что вот такая же бумажка приходит мне. Да я с ума сойду, соображая, как упаковать вещи, что вообще делать. Хотя... Я знаю ту общагу недалеко от нефтебазы – кирпичная пятиэтажка, похожая на руины. Может, у этой женщины появился шанс изменить жизнь, получить хоть однушку, но в нормальном доме.

Да нет, какой шанс... Переселят в другую нору, потом, лет через пять, снова велят собирать в баул трусы и кастрюли и куда-то идти. И так до конца... Мне хочется, чтобы на ее месте сейчас была девочка лет двадцати пяти. Плачет и спрашивает в камеру: «И куда я? Куда?!» Не очень симпатичная, простоватая, глуповатая, но это даже хорошо... И я мчусь к ней, предлагаю: «Переезжай ко мне». Конечно, никаких прописок – пусть живет на правах домработницы. Отведу ей комнату, буду раза три в неделю с ней спать, изредка выводить в кино или в кафе...

Усмехаюсь этим фантазиям, отношу пустую тарелку на кухню. Мою. Когда открываю горячую воду, колонка начинает выть, как немецкий самолет в фильмах про войну.

Закончив, выключаю газ, поворачиваю вентиль на трубе.

Смотрю в окно. Серовато, пусто, деревья неподвижны... Да, ветра нет, и это редкость. Прогулка сегодня должна получиться приятной... Прогулка... Скорее, панический поиск непонятно чего. Неизвестно чего.

Шляюсь по знакомым, с детства изученным улицам и ищу, ищу. Вот сейчас возьмет и блеснет это нечто. Озарит, согреет, спасет. Как в книгах... В каждой из нескольких десятков прочитанных мной за жизнь книг что-то случается хорошее. Конечно, герой преодолевает массу препятствий, проходит кучу испытаний, но в итоге обретает счастье.

Я тоже готов преодолевать препятствия, согласен даже погибнуть. Но где эти испытания, где враги, с которыми нужно сражаться? У меня – вереница бесцветных дней, вроде бы вполне благополучных, но они складываются в пустой год, и этот год уходит в небытие. Растворяется, будто и не было. Ни какого-нибудь десятого февраля, ни двадцать третьего января, ни семнадцатого января, ни даже четвертого декабря – дня моего рождения.

Летом еще более-менее – летом тепло, многолюдно, суетливо и празднично в нашем городе, и ощущение, что найдешь нечто спасительное, сильнее. Хотя ближе к холодам становится ясно: это обман. Глазение на девушек в купальниках, танцы и катание на аттракционах, два-три-четыре совокупления с подшившими лохушками, пачечка полученных за съем квартир, за тасканье шезлонгов и разные мелкие подработки денег, вот и всё. И дальше семь месяцев почти полного одиночества, почти полной тишины и беспрерывной тоски. Но в эти холодные месяцы я начинаю искать еще активнее – кажется, что меня, одинокого, на пустынной улице, это спасительное нечто заметит скорее, чем в летней суете... Или я его замечу и обрету?.. Какая разница...

Да, от такой жизни немудрено и заговариваться, впасть в какую-нибудь веру. У нас зимой в городе и людей почти нет, но кто остается – поголовно верующие. Разнообразные христиане,

свидетели Иеговы, мусульмане, караимы, даже сатанист один есть – живет в доме напротив. На закате у него обострения наступают, и он проповедует с балкона. Никому угрозы не представляет, не пристает со своей верой, и его не трогают… Наташа верит в поэзию, моя одноклассница Ира – в принца. Да, все во что-то или в кого-то верят.

Медленно, как бы тайком от себя самого, я собираюсь на улицу. Вот сменил треники на джинсы. Побродил, подобрал свитер со спинки дивана… Потаскал по щекам лезвия электробритвы… Еще побродил по комнатам. Выключил телевизор.

Ну что, пора идти. Пора искать.

Посмеиваясь над собой, обзываю шизоидом, романтиком, открываю дверь, выхожу на площадку. Запираю оба замка. Что ж…

Спускаюсь по лестнице. На щитках – навесные замки, части счетчиков нет: жильцы представили их внутрь квартир вскоре после заселения. От греха подальше. Воровали тогда всё подряд – белье с веревок во дворе, колеса у машин или целиком машины, оставленные на минуту тазы и ведра возле подъезда, провода срезали… Может, даже не из-за нужды воровали, просто время было такое, когда не воровать было труднее, чем тащить всё, что плохо лежит.

Сегодня воруют меньше и вообще как-то бережнее друг к другу относятся. Словно оставленная на утонувшей подводной лодке команда. Знают, что уже не спастись и убивать друг друга бессмысленно. Так вот бродят по кварталам-отсекам, чего-то ищут, на что-то надеются. Очередное лето дает очередную надежду, пусть слабую и иллюзорную, а очередная зима добивает…

Мусоропроводы заварены. Уже лет десять мусор выносим в контейнеры, стоящие во дворе. Сделано это в целях экономии – сгребать в машину содержимое трех металлических коробов дешевле, чем подгонять ее к каждому подъезду. Да и для нищих (настоящих бомжей у нас, кажется, нет, а нищих немало) – возможность покопаться в отходах, найти что-нибудь для себя нужное.

Поначалу многие ленились нести ведра и пакеты от квартиры до контейнеров – валили мусор или возле бесполезной теперь трубы, или у дверей камер-приемников; некоторые, живущие на верхних этажах, выбрасывали его из окон.

Но постепенно приучились. Постепенно ко многому приучаются. У некоторых, знаю, экономить на всем – цель жизни. Даже не из-за нужды, а просто. Это у них вроде спорта. Встречаются и хвалятся друг перед другом: «А я в прошлом месяце на три десятых кубика воды меньше потратила!» – «А я света нажег на сорок семь киловаттов всего. Учись!» И когда слышу такое, представляется, как на ощупь передвигаются по темной квартире и делают глоток воды, когда хочется выпить всю чашку, как недокипяченой водой чай заваривают, пасту на щетке оставляют, чтоб ею же вечером зубы почистить, сталкивают говляшик палочкой в сухую дыру унитаза. «Экономия!»

Стоило во двор выйти, со всех сторон – из кустов, из-под жестяных гаражей, из подвальных отдушин – ко мне бросаются кошки. С десяток, а может, и больше. Но увидели, что в руках нет ни кастрюли, ни пакета с объедками, тут же потеряли интерес и потрусили в свои укрытия. Две-три недовольно мяукнули, словно я обязан был их угостить.

Кошеч в нашем городе полно. Думаю, что сейчас их больше, чем людей. Они не то чтобы бездомные, а какие-то общие. Пожилые женщины и дети их подкармливают, играют, гладят. У нас любят кошек. Даже собаки не трогают.

Мне часто кажется, что кошки и есть хозяева города, что им одним здесь по-настоящему хорошо. Я не вижу богачей, действительно дорогих автомобилей; у нас нет шикарных отелей, закрытых клубов и тому подобного; элитных собак я тоже не встречал. А вот кошки разные, немало, видимо, и породистых. Но, главное, они ведут себя, как короли жизни. Даже в ненаст-

ные дни находят удобные и уютные пятаки, лежат и поглядывают на торопящихся с презрением и недоумением. Дескать: «Зачем бегать? Бегай, не бегай – ничего не набегаешь».

Город я обхожу то по большому кругу, то по малому. Малый – это, в общем-то, центр, а большой… Сегодня погода позволяет совершить этот большой круг… Сначала на восток по улице Сиверса до забора законсервированной военной базы. Потом по Геологической, Таманской – на север. Мимо нефтебазы, элеватора, ТЭЦ, руин прядильной фабрики, на которой работали мои родители… Таманская улица постепенно поворачивает на запад; я перехожу на Вторую Профсоюзную, плетусь мимо школы-интерната, стадиона «Кристалл», детского дома. Справа начинаются поросшие деревцами холмы, затем холмы сменяются оврагами и карьерами. Вторая Профсоюзная, уперевшись в очередной овраг, кончается, но немного южнее начинается улица Володарского.

Какие-то склады, ангары, ржавые ворота, запертые на такие же ржавые навесные замки. Дальше – довольно крутой подъем. На более-менее ровных участках склона – хибary. Это и есть поселение виноградарей. Домишко покрыты черепицей, тяжелой и крепкой, надежной. Из-за этой черепицы хибary напоминают присевших и умерших ящеров. Пришли сюда миллионы лет назад попастись, присели, спрятали головы и ноги, оставив на виду шершавые, покрытые панцирем спины, и так вот остались. И в их скелетах поселились люди. И живут…

Я открываю хлипкую, из жердей, калитку. Вхожу в свою хибарку. Проверяю, все ли нормально. Осторожно поталкиваю держащие центральную потолочную балку подпорки. Иногда топлю собранным вокруг ограды мусором печку, чтобы дать понять хибарке, что о ней заботятся и разваливаться пока рано.

Слушая, как шелкают щепки и сучки, как шипит пластик бутылок, я вспоминаю родителей, бабушку, представляю деда… Он серьезно отремонтировал этот домик в начале шестидесятых и вскоре умер. Снова ремонтировать бесполезно – надо перестраивать. Хибарке лет сто, а может, двести… Если верить бабушке, наша родовая жила здесь всегда. У нас и на Старом кладбище есть свой участок. Бабушка водила меня в детстве, показывала, кто где лежит, перечисляла имена покойников… Мои прадеды и пропадеды, их племянники, племянницы, братья, свекрови, золовки…

Теперь я редко бываю на кладбище. Тяжело не то чтобы видеть могилы матери и отца, а думать, что я вполне могу оказаться последним на этом фамильном прямоугольнике. Да и наверняка меня здесь не похоронят, напиши я хоть сто завещаний с просьбой об этом. Закопают на Новом в степи. Мне стоило больших усилий похоронить маму здесь, рядом с ее мужем, а ей, до того, пришлось долго хлопотать о захоронении там своего мужа. «Ну как он один среди чужих будет лежать? – помню, плакала, сама уже больная, полумертвая. – Там и место есть… Все санитарные нормы… Пожа-алуйста!» Ей пошли навстречу, потом навстречу пошли мне, – я тоже очень просил. А кому будет пойти навстречу в случае моей смерти? Если умру дома, меня и не хватятся, пока не запахну…

Весной, на Пасху, я подновляю надписи на памятниках родных, убираю мусор. Года три назад поправил металлическую витую ограду, которой кто-то когда-то обозначил наш участок, но она снова покривилась – ржавчина съедает столбики. Необходимо менять хотя бы их, но на это понадобятся деньги. Прилично денег. Вообще-то я могу скопить, но есть ли смысл продолжать жизнь этой ограде? Через тридцать, или пятьдесят, или семьдесят лет она все равно упадет, через сто лет повалятся памятники, участок зарастет кустами, деревьями…

В хибарке почти всё так же, как и при бабушке. Темная тяжелая мебель, в основном самодельная (мастерила потомственно одна семья до начала восьмидесятых, потом на их комоды, столы, буфеты спроса не стало, и семья как-то распалась и вымерла), обесцветившиеся от пыли занавески, репродукции картин Шишкина. Телевизор «Рубин» на комоде, сам по себе напоминающий комод. Я бы давно сменил его на современный (цены сейчас на телики, да и вообще

на аппаратуру смешные), но показывает хорошо, хотя нагревается долго, иногда что-то в нем начинает гудеть, и тогда кажется, что вот сейчас «Рубин» вспыхнет, взорвется. Нет, не взрывается, гудение смолкает… Просто так брать и тащить на свалку – жалко. Пускай живет пока. Тем более в квартире у меня «Самсунг», но летом его смотрят квартиранты-туристы. Без телевизоров, как и без стиральных машинок, утюгов, кондиционеров или вентиляторов, в крайнем случае, квартиры котируются слабо. Некоторые отпускники уже и без интернета вселяться не хотят: «А как мне с миром общаться?! Нет уж, спасибо».

Попроведав домик, спускаюсь по улице Овражной до школы номер три, в которой учился. Если встречаются люди, здороваясь. Правда, знакомых почти не бывает… Когда живу здесь летом, то ни с кем не общаюсь. Соседи сменились, теперь это какие-то ли переселенцы из сел, то ли бедные дачники, которым не хватило средств на нормальные участки. Они копают сухую каменистую землю, пытаясь здесь что-нибудь вырастить, но ничего не растет. Хорошая земля дальше, на противоположном склоне холма. Там виноград. Наверное, поселение потому и основали именно здесь, чтобы не занимать плодородную почву. Впрочем, вид неплохой: далеко внизу море, отсюда безопасное, игрушечное, и город, живописно лежащий серпом вдоль залива. Зелень парков, купола церкви, минарет мечети, башни остатков крепости…

Да, население этого района за последние двадцать лет сменилось чуть ли не полностью (кому-то дали квартиры, как нам, другие уехали, кто-то умер). Кой-какие хибарки совсем покосились, даже стекла потрескались из-за покривившихся рам, но и здесь пока живут… В народе район называют теперь Бичёвка. Хм, а когда-то Виноградным… Ладно хоть не воруют.

Школа всё такая же. Двухэтажное белёное здание с выцветшей надписью над входом: «Добро пожаловать!» Рядом спортивная площадка – турники, шведская стенка, баскетбольные кольца без сеток… Спортивные сооружения каждую весну красят, но краска отколупывается, шелушится, и наружу лезет колючая ржавчина. Когда-нибудь очередной школьник станет подтягиваться, и турник рухнет; метнут мяч в кольцо, а оно рассыплется в пыль…

От школы поворачиваю на запад, на Подгорную. Миную Пенсионный фонд, Центр занятости – недавно построенный, трехэтажный, с большими зеркальными окнами. Я оформлялся как безработный еще в другом месте – в кабинетике при собесе. Потом – в начале двухтысячных – наплыv граждан стал таким мощным, что пришлось возводить отдельное здание. Но вскоре обращаться в Центр почти перестали. То ли ищущие работу закончились, то ли своими силами проблемы решают, то ли просто плонули… Раз в месяц мне приходят на книжку несколько сотен, в определенный срок я переоформляю документы, пропускаю положенные законом сроки на право получения пособия; иногда меня вызывают, чтобы предложить устроиться то дворником, то грузчиком, то курьером. Я отказываюсь. Отказываюсь не нагло, конечно, чтоб не злить тётенек, ссылаюсь на боли в спине (они действительно бывают, пару раз даже «Скорую» вызывал, просил укол сделать), на предрасположенность к простуде. «Нет, дворником никак… Я не брезгую, но… Зимой постоянно на бюллетене буду… Летом… У меня солнечный удар в детстве был… Не могу долго на солнце… Курьером?.. Извините, но ведь это для студентов… Может быть, подождем, когда что-то серьезное появится. Я ведь все-таки техникум окончил…»

Тетеньки соглашаются. Они явно не горят желанием устроить меня на работу во что бы то ни стало. Да им, кажется, самим неловко предлагать мне, тридцатишестилетнему, имеющему диплом со специальностью «Монолитное строительство», работу, которую может выполнить и дрессированная обезьяна.

Да и появись подходящая вакансия, я вряд ли ее займу. Я нигде никогда не работал, только подрабатывал, – не могу представить себя, месяц за месяцем, год за годом идущего одним маршрутом в определенное место, пребывающего там по восемь часов… Помню, как

после довольно долгого перерыва столкнулся в ресторане «Прибой» со своей одноклассницей Ириной. Я зашел туда однажды, решив вкусно поесть, выпить хорошей водки. И увидел ее в фартучке, с этой белой официантской наколкой на волосах. «Ты что здесь делаешь?» – изумился. И услышал спокойно-усталое: «Я здесь старею». Я не хочу попадать в ситуацию, когда и мне подвернется на язык подобный ответ.

Лучше уж стареть в одиноком кружении по городу.

От Центра занятости на юг ведет улица Победы. Очень тянет свернуть на нее и через десять минут оказаться у моря. Поговорить с Ириной, Наташой... Но я иду дальше на запад, теперь по Октябрьской, убеждая себя, что мне очень нужно увидеть то-то и то-то, и внутри крепнет уверенность, что там-то, или там-то, или там-то вдруг произойдет неожиданное и в то же время давно ожидаемое. То, что изменит вялое и бесцветное течение жизни. Моей маленькой, но родной и единственной жизни... Я не верю в реинкарнацию и тому подобное. Это придумали для того, чтобы не слишком сильно страдать от пустоты и преснятины. «Если в этой жизни не повезло, значит, в следующей повезет чуть больше», – саркастически поется в одной песне. Да, многие только на это и надеются.

Октябрьская выводит меня к храму Всех Святых. За ним – Старое кладбище, напротив храма – автовокзал. Я вижу таблички на лобовых стеклах автобусов с названиями ближних и дальних городов. Даже «Волгоград» есть. Но почему-то не верится, что автобусы окажутся в этих городах, что они вообще сдвинутся с места. К тому же и пассажиров в них нет, и водительские места пусты. Пуста и привокзальная площадь. Совершенно пуста. Ни одного человека, ни собак, даже ветер не гоняет бумагу и целлофановые пакеты. Застывший, умерший мир.

Становится жутко. Я закуриваю, но тут же сбиваю уголек с сигареты и торопливо вхожу в церковь.

Уютная полутьма, иконы, лампадки; женщина в платке отковыривает столовым ножом воск с желтого подсвечника... Стою и радуюсь, глядя на ее движения. Энергичный, немеханический скрежеток металла о металл – как музыка... Мысленно объясняю себе, что все нормально, люди есть, просто греются внутри автовокзала, что в положенное время водители сядут за руль, заведут моторы, в салонах наберутся по десять, пятнадцать, тридцать пассажиров. Может, поругаются слегка из-за каких-нибудь пустяков, из-за мешка в проходе, и покатят в Ростов, Керчь, Волгоград...

– Свечку хотите купить? – громким шепотом спрашивает женщина.

Я мотаю головой:

– Нет-нет. – И вижу в ее взгляде вопрос: «А зачем пришел тогда?»

Может, да наверняка, она так не думает, но в глазах читается именно это.

Мне становится неловко, и через несколько секунд я выхожу на улицу. Снова закуриваю сигарету. Быстрым шагом двигаюсь в Старый город.

В школе нас приучали любить и уважать историю родного края. Нам рассказывали, что город наш был основан в четвертом веке до нашей эры, входил в Боспорское царство, а до этого здесь жили какие-то меоты, синды... В тринадцатом веке городом владели генуэзцы, построили огромную, кажется, крепость (следы ее встречаются на территории почти всего Старого города, часть стены с двумя башнями уцелела). В середине четырнадцатого века город завоевали золотоордынцы, потом он принадлежал Османской империи. В конце восемнадцатого и начале девятнадцатого веков русские несколько раз брали город, но их выбивали. Говорят, потери с обеих сторон были огромны. В конце концов русские победили... В тысяча восемьсот пятьдесят пятом году город заняли англичане. Правда, через три месяца убрались... Во время Гражданской войны власть менялась раз десять. После каждой смены происходили казни и

чистки. Красные, белые, казаки, анархисты… В сорок втором году город в очередной раз был почти стерт с лица земли, население уничтожено или бежало. Кто на восток, кто на запад…

Да, история бурная и богатая, даже и не совсем верится, что из-за этого кусочка земли погибло столько людей, столько крови в нее впиталось. Тем более что в краеведческом музее (двуэтажный домишко из нескольких залов) практически нет доказательств того, что написано в исторических книгах. Несколько изъеденных ржавчиной сабель, пяток стеклянных осколков, которые являются (как утверждает подпись) фрагментами итальянских бокалов; изразцы, бусинки, камни, в которых скорее угадываются, чем видятся человеческие фигурки…

Я не очень-то верю в историю. Точнее – в грандиозность происходящих в прошлом событий. Например, что наш город восемьсот лет был крупным торговым центром, портом, в котором стояли под погрузкой и разгрузкой десятки кораблей… Но что-то, конечно, было. Было и кануло в небытие почти бесследно. Миллионы людей прожили на этих квадратных километрах свои жизни. Некоторые умерли своей смертью, многих убили. Кто-то погиб героически, кто-то наверняка был потенциальным гением, кто-то был божественно красив… Только кого запомнило человечество? Да никого. И нечего выставлять в музее… А что останется от нашего времени через тысячу лет после парочки катастроф? Да наверняка тоже какие-нибудь обломки, осколки, мелочи…

Но вот, правда, единственная оставшаяся от прошлого немелочь: кусок стены и две башни возле самого моря. Конечно, полуразрушенные, осыпавшиеся, но все равно впечатльные. И невольно представляется, как тащили сюда отесанные камни, клали один на другой при помощи разных приспособлений, рычагов. Или пленники изнуренные строили, или сами генуэзцы – крепкие, активные, весело подбадривающие друг друга, уверенные, что за этими стенами будут жить их потомки до скончания веков… В заливе на волнах покачиваются корабли со спущенными парусами, на берегу – шатры, бочки с вином и порохом.

Пять, десять, сто лет строились пояса стен и башен, дома и церкви внутри них. Родилось население, богатело… И вот к стенам подходят чужие, желающие город завоевать. Происходит штурм, но он неудачен. Осада. Летят в город камни и горящие стрелы, долбят укрепления стенобитные орудия… В книгах написано, что генуэзцы держались до последнего. Наконец в стане осаждающих началась эпидемия чумы. И хан приказал метать за стены тела умерших. Лишь несколько генуэзцев уплыли на одном корабле. Завоеватели ворвались в опустевший город, набрали добра, но почти все поумирали.

Через какое-то время жизнь вернулась и возвращалась еще не раз. Что ж, место удобное. Но крепостей уже не строили, видимо, зная, что в один прекрасный момент найдутся те, кого стены не остановят. И дома стали не такие крепкие (уцелели у нас несколько древних зданий – из каменных блоков, с узкими окнами, плоскими крышами, напоминающими могильные плиты).

И вот сейчас рядом с генуэзскими башнями налеплены хилые домишкы, сараюшки, сортиры, окруженные символическими заборами. На два-три поколения рассчитаны эти постройки, не больше. Не дольше. Не дольше.

Здесь, рядом с башнями, мне и хорошо, и тоскливо. Будто нахожусь в нужном месте, но я опоздал и нечто важное уже случилось. Не исключено, что оно произойдет снова, но когда – неизвестно. А ждать – тяжело.

Да и как ждать? Это только литературные герои могут сидеть годами и глядеть вдаль с надеждой, а живые… Вот потоптался минут десять под одной из башен и уже стал коченеть, и в туалет захотелось, и голод почувствовал. Надо идти дальше, туда, где и зимой теплится хоть какая-то жизнь, где кафешки с туалетами, ресторан «Прибой» с Ириной, музей с Наташей. Где есть шанс встретить тех, с кем можно словом перекинуться.

И по Портовой улице я шагаю на восток, к центру города. Небольшого приморского городка, в котором живу.

Слева четырехэтажные дома. Раньше в них жили семьи моряков и портовых рабочих, а теперь непонятно кто. Справа – здание порта, железобетонные заборы, стальные ворота с нарисованными якорями, большинство из которых не открывали уже много лет (даже деревца кое-где перед ними выросли). Вот показались краны. Неподвижные, с повисшими стрелами. Напоминают дремлющих жирафов. Или больных...

Порт пуст, причал – тоже.

Нет, вот перед широкими решетчатыми воротами, к которым ведут рельсы, медленно проходит человек с ружьем за спиной. Часовой... Смешно. Что он охраняет?.. Да наверняка есть что. Страшно сознавать, что ничего не осталось...

Дохожу до железнодорожного вокзала. Симпатичное здание салатового цвета, несколько путей, разъезды, стрелки, тупики... Наш город – конечная станция. Южнее на побережье – курортные поселки, санатории, профилактории, заповедник. Часть пассажиров поездов летом сразу пересаживается на автобусы и едет туда. Там, конечно, лучше отдых, но и цены раза в три выше на всё, поэтому не особо имущие, тем более с детьми, предпочитают проводить свои отпуска здесь. А что? Пляжи есть, в том числе и песчаный, загазованность невысокая, кафешек, ресторанов, аптек, магазинов полно. Квартиры дешевые, комнаты копеечные. А то, что по онкологии наш городок первый в регионе, не афишируется. Да и кто знает наверняка, что на первом? И может, случайно так получается. Подобрались люди, предрасположенные к раку. И никакие ракеты ни при чем.

Поговаривают (тихо, между собой), что это из-за военной базы на восточной окраине. Дескать, там в шахтах хранятся ракеты. Межконтинентальные, крылатые... Потом базу закрыли, а оружие осталось ржаветь, испускать радиацию.

Никто своими глазами ракеты не видел, в шахты не пробирался, но упорно винят в раке базу. Скорее, чтоб найти для себя причину, – непонятность ведь хуже всего. Да и наверняка обида мучает – вот сколько лет жили рядом со стратегическим объектом, в опасности, но и с сознанием, что являются щитом Родины, и вдруг часть этого щита откололи и бросили, и люди стали не нужны. Да вдобавок должны глотать радиацию...

Не знаю, не знаю. Может, и правы они. По большому счету правы – обидно быть ненужными. Тошно от нынешней свободы.

Зимой к нам прибывает один пассажирский поезд в сутки. Зато в сезон бывает до пяти дополнительных. Площадь тогда забита палатками и лотками, везде жарят мясо, пекут пиццу, осетинские и караимские пироги. Шумно, суетливо, празднично, дни и ночи мелькают с бешеною скоростью, но кажется, что лето не кончится, всегда будет вот так – жарко, ярко, много-людно. А потом, в середине октября, резко холодаает, и город пустеет. Большая часть кафе и ресторанов закрывается, палатки, лотки, тенты убирают на склады. И создается впечатление, что часть города исчезает. Действительно, в прямом смысле. Пусть не главная часть, но все-таки именно та, ради которой к нам сюда едут туристы, поддерживают своими деньгами наше существование. Без этой части горожане впадают в спячку. Тяжелую, не прибавляющую сил.

Но вот есть пятак, где жизнь теплится и сейчас: Земская площадь. Метров двести от набережной; окружена краеведческим музеем, городской картинной галереей (с полтысячи пейзажей города и его окрестностей), центральным офисом банка, гостиницей «Прибой», рядом с которой одноименный ресторан. На площади несколько сувенирных киосков (вдруг кто из зимних гостей захочет купить раковину, или залакированного крабика, или брелок, магнитик); абхаз Насибей упорно поддерживает тлеющие угольки в своем мангale в надежде, что появятся голодные гости и скажут: «Пять!.. Нет, десять шампиров давай-ка, друг! Да вина, да помидоров, да сыра!»

Завидев местных, Насибей зазывает и их на всякий случай.

– О, дорогой! – улыбается мне. – Кушать хочешь?

– Хочу, – тоже улыбаюсь, принимая игру; этими словами мы обмениваемся каждый раз.

– Барашка, свинку, курочку?

– Угощаешь?

Насибей страдальчески ломает брови:

– Ох, да я бы с радостью. Не могу, знаешь. Но совсем мало возьму!

Иногда, но редко, я соглашаюсь. Сажусь за пластиковый стол под брезентовым зонтом, надежно закрепленным веревками и камнями, и жду, наблюдая, как Насибей с любовью готовит шашлык. Курю, смотрю в сторону моря, и мне кажется, что я где-то в другой стране. На побережье Бискайского залива или Балтийского моря; я приехал сюда зимой, чтобы отдохнуть от сути родного города... Потом ем мясо, запиваю вином или проглатываю рюмку-другую домашней Насибеевой чачи.

Сегодня я поблагодарил и отказался.

Во-первых, не стоит столоваться у Насибеля слишком часто, тем самым демонстрируя, что я как-то завишу от его вкусных шашлыков (вполне может из-за этого цену поднять, да и просто свое превосходство надо мной почувствовать); во-вторых, в «Прибое» теплее, чем здесь. А главное, с Ириной просто так не пообщашься – надо что-нибудь заказать.

– Спасибо, Насибей, может, завтра, – говорю шашлычнику и скорей отворачиваюсь, но успеваю заметить, как оползает его улыбка: потеря покупателя, ясно, не сахар...

Ресторан «Прибой» вот он, напротив. Расположен в старинном двухэтажном доме. Залы на обоих этажах; в сезон есть веранда, столики устанавливают и на балконах. Сейчас открыт лишь один зальчик – ближайший к кухне.

Отворяю дверь – звенякает колокольчик, – вхожу, опускаю воротник, разминаю замерзшие пальцы. Взглядом ищу Ирину. По моим подсчетам, сегодня ее дежурство...

Появляется, на ходу поправляя старомодную белую наколку на волосах (руководство ресторана почему-то считает эту деталь обязательной для официантки), отвернув лицо и потому не видя меня. Увидела, и на лице мелькнуло разочарование. Конечно, в эти секунды, когда услышала звяк колокольчика и пошла встречать посетителей, успела нафантазировать... А тут я, пресный завсегдатай. Закажу мелочь, и главное – надоел я ей до предела, известен каждым жестом и словом. Я уверен, что она с радостью бы меня сюда не пустила, но принимать любого, обслуживать – это ее работа. За это платят деньги.

– Привет, – говорю изо всех сил душевно.

– Добрый день, проходи... – Она направляется к барной стойке за меню. – Гардероб, извини, закрыт.

– Да я на стул...

Смотрю ей вслед. Сочная нерожавшая женщина. Нельзя сказать, что до сих пор юная, хотя что-то сохранилось в ней девичье, то, что и отличает женщину от тетки... Но... Но у такой больше нет запредельных запросов, несбыточных целей – такой подойдет тихое благополучие, сносный достаток, который обеспечивает муж. Жаль только, что она не верит, что я могу ей это дать. Поженись мы, и Ирина так же будет изнывать по три-четыре дня в неделю в пустом пять месяцев в году ресторане, а в остальные семь месяцев метаться с подносом от кухни до столиков, сходить с ума от обилия заказов, бояться обсчитаться, ошибиться в блюдах.

Ей хочется сменить работу или стать не испытывающей нужды домохозяйкой, если уж невозможно оказаться светской львицей, но никаких признаков перемены участи не ощущается. Нет, нечто витает, призрачно дразнит, намекает (как и мне), что надежда остается, и это самое обидное. Лучше бы уж полная безнадега. Вылилось на лицо кипящее масло...

Иногда из «Прибоя» Ирина идет ко мне. Очень редко. Мы занимаемся сексом. Жарко, грубовато, но молча, без поцелуев и ласковых слов... Мне кажется в эти минуты, что Ирина не со мной, а с кем-то другим, и, что самое неприятное, я сам себе представляюсь не собой.

Представляюсь богатым, крепко вцепившимся в жизнь мэном, которому по праву досталась такая женщина. С отличной фигурой, мягкая, гладкая, приятно пахнущая.

Потом Ирина быстро одевается. Я прошу остановиться, мне хочется уснуть, обнявшись с ней, чувствовать ее во сне, но она уходит. С каким-то таким видом, словно пытается понять, как она сюда попала, что это с ней... И через месяц-два-три снова оказывается у меня, снова бьется на мне и подо мной, а потом торопливо натягивает колготки, цепляет крючки лифчика, размыто оглядывая комнату...

Прошлый такой вечер был у нас около месяца назад. Скорее всего, в ближайшее время мне рассчитывать не на что.

– Пожалуйста, – Ирина подает папочку меню. – К сожалению, не все в наличии.

Это не сюрприз – готовят зимой один какой-нибудь суп, два-три блюда на второе, троечку салатов. Посетителей-то, мягко скажем, не густо, и если уж кто приходит, не станет кочевряжиться – съест что дадут, утолит голод и пойдет дальше по своим делам.

– А что есть? – спрашиваю, глядя на Ирину. Она стоит надо мной в белой кофточке, в черной юбке, прикрытой спереди кружевным передником. На лице аккуратная косметика, запястья голые, розоватые, даже на вид мягкие и нежные. Вообще вся она аккуратная – во-первых, работа такая, а во-вторых, всегда готова понравиться подходящему человеку. Человеку, который выдернет отсюда в лучшее.

После школы Ирина уехала, училась где-то, работала, даже вроде замужем побывала (подробно о прошлом я ее расспрашивать опасаюсь, догадываясь, что счастья там особого не случилось), а года три назад вернулась сюда. Домой. На родину.

– Салаты «Витамин» и «Столичный». На первое – солянка, – без раздражения перечисляет она. – На второе есть котлеты «Домашние», куриные грудки под сыром, пельмени... Сок, кофе, чай в ассортименте.

– Отлично! – улыбаюсь. – Значит, солянку, пельмени и сто граммов водки... попроще.

Ирина не записывает – такой набор нетрудно запомнить. Уточняет:

– «Медоф» подойдет?

– Самое то.

– Пельмени с чем? Майонез? Масло? Сметана?

– Сметана.

– Хлеб?

– Пару кусочков черного.

– Хорошо. – Она идет на кухню.

Достаю из кармана пальто сигареты. Некоторое время кручу пачку пальцами. Потом вынимаю сигарету, вставляю в рот. Вспоминаю, что зажигалку не достал. Нахожу. Закуриваю. Замечаю, что волнуюсь, и назло волнению разваливаюсь на стуле, с силой пускаю дым вверх, к потолку. С ленцой (надеюсь, со стороны это выглядит именно так) оглядываю зал.

Громоздкая мебель, тяжелые портьеры, шторы. Кондиционеры спрятать, плазму со стены снять, и можно снимать фильм про советское время. Но туристам нравится – летом здесь вечно битком. Как-то солидно по сравнению с фаст-фудом и пиццериями, цены терпимые, вентиляция... А сейчас пусто, холодновато, уныло, даже едой не пахнет, хотя кухня за дверью. Впрочем, если себе внушить, именно сейчас можно ощутить себя королем жизни. В кармане толстая пачка денег (на всякий случай всегда держу при себе часть сбережений). Назаказывать всего самого дорогого, наобещать Ирине золотые горы – наврать, что наследство, например, получил и готов уехать с ней в Питер, где, дескать, умершая тетка мне квартиру оставила. Оторваться по полной, гульнуть с Ириной (она сразу, услышав, что я стал другим, в меня влюбляется) не в этом осточертевшем обоим «Прибое», а в другом каком-нибудь месте. Потом страстная ночь в снятом номере гостиницы, завтрак в постели... А дальше? К сожалению, жизнь продолжится, и впереди – много-много дней. Тысячи дней, каждый из которых нужно переживать.

– Пожалуйста. – Ирина ставит передо мной большую тарелку с солянкой, хлеб, графинчик и рюмку. – Пельмени варятся.

– Спасибо. – Тушу окурок в стеклянной пепельнице с надписью «Marlboro». – Посидишь со мной?

Посетителей, кроме меня, никого, и Ирина присаживается напротив. Поднос кладет на соседний стол.

– Всё ходишь? – спрашивает с сочувствующей, но и, кажется, снисходительной полуулыбкой.

– Да, хожу… А что еще делать… Вариантов немного…

Вообще-то говорить не о чем. О прошлом что нужно, мы сказали и рассказали друг другу уже давно, что не нужно – не скажем никогда. Канва нынешней жизни нам тоже известна подробно. Конечно, какие-то детали мы друг от друга утаиваем (Ирина, скорее всего, ничего не знает о Наташе, точнее, о моих визитах к ней, а я не знаю, есть ли у нее секс с кем-то помимо меня), но если я прихожу в «Прибой» и пока меня встречает Ирина в своей форме официантки, значит, никаких существенных событий ни с ней, ни со мной не произошло.

– А у тебя какие планы? – задаю ответный вопрос. – Свободна вечером?

Ирина пожимает круглыми, наливными плечами:

– Сегодня футбол. Должен собраться кто-нибудь. У нас бокал пива бесплатно. А потом… – Она делает паузу, словно бы определяя, необходима ли ей уже близость с мужчиной или можно еще потерпеть. – Закончится поздно, одна мысль будет, как до кровати дошлепать.

Я покачиваю головой. Вожу ложкой в тарелке. Есть сейчас как-то неловко. Пойшло, что ли… Не нахожу ничего лучше, чем ляпнуть:

– Что за футбол-то?

– «Арсенал» – «Барселона». Лига чемпионов.

– М-м! На это должны прийти. Команды знаменитые. Месси, Аршавин…

Губы Ирины снова потянулись в неопределенной полуулыбке. Она кивает на тарелку:

– Ешь. А то остынет. – Поднимается. – Сейчас пельмени принесу.

Я выпил рюмку водки. Похлебал солянку. Колбасы и мяса не в обиду. Сытная. Но, кажется, не совсем свежая. Или маслин слишком много… Искол, искал, что бы сказать Ирине новенького, такого, чтоб она засмеялась, оживилась хотя бы. Снова мелькнула мысль навратить, что я разбогател… Хмыкнув, отогнал ее, еще закинул в себя несколько ложек.

Ирина вернулась с пельменями. Поставила тарелку по левую руку от меня, но не рядом, чтоб не мешала.

– Ир, – сказал я, чувствуя, что она сейчас пойдет к барной стойке.

– Да? – бесцветный отклик.

«Я люблю тебя… Не могу без тебя жить… Давай поженимся… Давай я продам квартиру и уедем», – прощелкали в мозгу фразы, и ни одну из них я не смог произнести вслух. Не потому, что не решался, а просто… Просто знал, какой будет реакция. Эта ее полуулыбка, но уже не странная, а однозначно насмешливая. Которая вполне может стать знаком: та ниточка, что связывала нас, рвется навсегда… В какой-то песне есть слова: «Женщины, которых, как реки, не повернуть вспять». Когда женщина по-настоящему начинает тебя презирать, ее расположение ничем уже не вернешь. Лучше уж пусть остается как есть. Несколько раз в неделю буду приходить сюда и обедать, раз в месяц-два Ирина будет оказываться на час-другой в моей квартире…

– Ир, – говорю вслух. – Я сегодня приду на футбол. Можно?

И она невесело, но без всяких полутонаў улыбается. Это действительно улыбка.

– Да конечно! Буду рада.

Я наливаю еще водки и глотаю. Закусываю вывалиянными в сметане пельменями… Пельмени здесь хорошие, с натуральным фаршем.

– Буду болеть за «Арсенал», – говорю. – А ты?

– Мне «Барселона» всегда симпатичней.

– А в «Арсенале» Ван Перси. Он уж симпатичней всей «Барселоны». С точки зрения женщин, конечно. Ты не подумай. – Стараюсь ее развеселить.

– Да ну, он славный какой-то. Месси – вот настоящий парень.

Соглашаюсь:

– Ну да. Месси вне конкуренции...

Расстаемся в приподнятом настроении. Я расплатился, надел куртку и вышел.

Выпитые сто граммов под хорошую закуску почти не чувствовались. Точнее, опьянения нет, зато возродилась энергия для дальнейшего похода по городу... Даже не так... Утром меня выбросила из дома тоска, а теперь появилось желание просто гулять, разглядывать знакомые здания, деревья, вывески, ворота, окна. Я словно бы хозяин, проверяющий сохранность своих владений... Теперь я готов многословно, эмоционально говорить с Натальей хоть о поэзии, хоть о чём...

И я уверенно шагаю к тому музею, где она работает.

Раньше, помню по детству, у нас был один музей – краеведческий, да и тот со скучными экспонатами. Ценные находки увозили в столицу, что-то в Эрмитаж, а у нас оставалось ненужное... А с начала девяностых музеи стали появляться как грибы (или что там появляется словно бы ниоткуда). Музей денег открылся, музей моря, музей камня, музей игрушки, музей вина... Правда, музеями эти заведения сложно назвать – скорее уж магазины, замаскированные под музеи. В музее денег, например, есть стендик с несколькими старинными монетами и редкими банкнотами, а прочее – товар. Так же и с остальным.

Но года четыре назад открылся действительно музей, хотя тоже почти без экспонатов.

Его открытия добивались долго и трудно, с митингами и обращениями к мэру, министру культуры... Дело в том, что в нашем городе в конце позапрошлого – начале прошлого века жила одна художница. Наташа всегда уважительно, с благоговением называет ее по имени-отчеству – Мария Григорьевна.

В общем, жила в нашем городе художница Мария Григорьевна, была знакома с кучей известных людей, считала себя ученицей Айвазовского, навещала Льва Толстого, когда тот лечился в Крыму. Но в общем жила незаметно в своем одноэтажном каменном доме на улице Десантников (как раньше называлась, не знаю), писала картины. Весной двадцатого года, когда к городу подходила Красная Армия и уже никто не верил, что ее остановят и победят, собрала свои холстики и села на пароход. Жила в Болгарии, во Франции, умерла в США в глубокой старости.

Картинами Марии Григорьевны есть во многих европейских и американских музеях (в основном в запасниках), а у нас почти ничего не осталось. Это и было одной из причин, почему музей долго не организовывали (вторая существенная – в ее доме находилось государственное учреждение). В конце концов городская интеллигенция убедила, что главное – не экспонаты, а знак, что человека помнят, сделанное ею – ценят.

И теперь в четырех комнатах (залах) несколько рисунков Марии Григорьевны и два этюда маслом. А остальное – копии фотографий, писем, предметы старины (швейная машинка, керосиновая лампа, бюро, веер), морская галька...

Наташа – младший научный сотрудник, проводит экскурсии. По сути, ее экскурсии и являются главным экспонатом, без них мало что можно понять... Наташа рассказывает подробно, увлеченно, с душой и заражает этим сонных, вялых туристов. Часто я присоединяюсь к маленьким группам (большие в музейчике попросту не поместятся) и слушаю.

«Мария Григорьевна в юности была очень привлекательна. Все, кто был знаком с ней в то время, сходятся в этом, – журчит в ушах Наташин голосок, словно я уже пришел в музей и

занял место среди экскурсантов. – У нас есть копия фотографии, сделанной в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году. – Наташа показывает указкой на мутно-серое пятно под стеклом, где практически ничего не разобрать. – На ней Марии Григорьевне восемнадцать лет. Фотография сделана в Ростове, во время учёбы Марии Григорьевны в рисовальных классах...»

Когда Наташа с придыханием произносит «Ростов», «Москва», «Петербург», «Киев», вспыхивают внутри неясные, но яркие картишки. И я пытаюсь что-то разглядеть. Но неизменно оказывается, что это просто ярость, как свет сварки, который лишь слепит... В Ростов я ездил, но не обнаружил ничего там интересного, а Москва и Петербург для меня такие же мифические места, как, к примеру, Рим, Нью-Йорк, Париж, Бильбао... Да и Наташа в Москве и Питере не бывала. Самое дальнее – в Харькове.

«В девятнадцать лет Мария Григорьевна полюбила. – «Полюбила» Наташа всегда говорит так, что становится ясно, что полюбить – это чудо, и хочется одновременно и заскулить слезливо от того, что сам до сих пор не полюбил, и как-нибудь погано захочтать. – Она полюбила молодого корнета Петра Сергеевича Лопушинского. Они познакомились в доме Айвазовского. Их обоих, как много позднее вспоминала сама Мария Григорьевна, одновременно пронзили стрелы Амура. С самой первой встречи они не расставались, а вскоре были помолвлены. Мечтали о свадьбе. Но Петра Сергеевича отправили в Туркестанский край, где он героически погиб в бою под Кушкой восемнадцатого марта тысяча восемьсот восемьдесят пятого года. И всю оставшуюся жизнь, почти шестьдесят лет, Мария Григорьевна хранила светлую память о своем женихе».

И мне, да, судя по всему, и остальным слушающим в эти моменты кажется, что Мария Григорьевна необыкновенная, чуть ли не святая женщина, что у нее (вот именно у нее) – трагическая судьба. И нужно что-то сделать, как-то помочь, исправить или по крайней мере больше узнать о ней.

Мне нравятся Наташины экскурсии и свои чувства, которые возникают во время них; во время этих экскурсий я люблю маленькую костлявую Наташу, люблю, наверное, именно так, как неведомый (даже фотки не сохранилось) корнет Петр Сергеевич Лопушинский любил Марию Григорьевну... К сожалению, экскурсии заканчиваются, и нужно возвращаться в реальность, где любовь, скорей всего, хоть и возможна, но придавлена горами проблем. Вряд ли сегодня можно побежать по мелким камешкам, держась за руки и действительно счастливо смеясь, ни о чем больше не думая, кроме любви, как, если верить Наташе, делали Мария Григорьевна с Петром Сергеевичем. Да нет, и они вряд ли были абсолютно счастливы хотя бы несколько минут, но, слушая Наташу, становишься уверенным, что да, были.

И вот сейчас, подзарядившись общением с Ириной, вкусным обедом и водкой, я спешу в музей. Надеюсь, что кто-нибудь придет посмотреть экспозицию, и я пристроюсь, послушаю, наполнюсь сладостью, испытаю прилив возвышенности. Пусть даже очень быстро произойдет отлив, а сладость превратится в едкую горечь... А если посетителей не будет, то просто посижу рядом с Наташой. Это тоже помогает.

Поднимаюсь по ступеням крыльца, открываю тяжелую скрипучую дверь. Озябшее лицо сразу хватает мягкими лапками теплый воздух, и хочется жмуриться, улыбаться.

Из кабинетика справа высакивает Ольга Борисовна. Директор. На лице – надежда и волнение. Но увидела, что это всего лишь я, и надежду с волнением стерла досада. Ну почти как с Ириной получается встреча.

– А, добрый день, – говорит Ольга Борисовна, делая лицо спокойно-приветливым.

– Здравствуйте, – отвечаю, тоже стараясь быть спокойным и приветливым. – Как ваши дела?

– Да как они могут быть, – привычно-автоматически вздыхает директриса и тут же что-то вспоминает, и голос ее становится по-настоящему скорбным. – Да нет, еще хуже – Наташенька отравилась. Второй день лежит.

– Где лежит? – За мгновение я успеваю нафантазировать, что Наташа отравилась таблетками и сейчас в морге.

– Дома. Рвота, температура, – говорит Ольга Борисовна. – Мама ее заходила утром, сообщила вот… Спрашивала, надо ли бюллетень оформлять. Да ладно, говорю, сейчас такой период, что всё равно, работает музей, не работает. За неделю – ни одного посетителя. Даже адресом никто не ошибся…

Чувствую некоторое вроде даже разочарование, что у Наташи отравление случайное, и с удивлением понимаю: для меня не стало бы неожиданностью, если бы оно было намеренным.

– И не знает, говорит, на что грешить, – продолжается скорбный бормоток Ольги Борисовны, – все продукты такие стали, что… Контрафакт сплошной.

«А раньше никаких не было», – хочется ответить, но я лишь молча сочувствуя киваю – спорить как-то глупо.

– Чайку попьете? – предлагает директриса. – У меня печенье есть. Посидим. Устала одна.

Соглашаюсь. Что ж, всё равно делать нечего.

Сидим в маленькой комнате. Раньше это была, наверное, каморка швейцара (или сторожа), а теперь – дирекция. Шкаф с папками, два стола. Ольги Борисовны и Наташи. На директорском – компьютер. На экране застыли карты. Игра «Косынка» или что-нибудь типа…

В девяностые Ольга Борисовна была известнейшим (да и по существу единственным) искусствоведом нашего города. Писала статьи в местную газету, боролась за памятники старины, устраивала выставки и творческие вечера, добивалась открытия этого вот музея. Но когда музей открыли, ее активность резко снизилась. Теперь она целыми днями сидит за столом, ждет посетителей, играет в безобидные компьютерные игры. Статей ее я давно не встречаю, выставок и вечеров почти не бывает. Судя по всему, получила она то, что хотела, и успокоилась. Или устала.

Щелкнул, вскипев, чайник. Ольга Борисовна наполняет две чашки, закрашивает пакетиком «Липтона» воду сначала в моей, потом в своей. Отжимает пакетик при помощи ложки, бросает в урну.

– Кладите сахар. Печенье вот.

– Спасибо.

Я замечаю городскую газету. Свежий номер.

– Можно глянуть?

Ольга Борисовна удивляется:

– Конечно! Что вы спрашиваете, как чужой…

Приятные слова.

Попиваю чай, листаю газету. На первых страницах разная пустая информация, интервью с первым заместителем мэра под названием «Работаем в штатном режиме». Еще новости: где-то трубу прорвало, у какого-то долгожителя случился очередной юбилей, кто-то из наших на региональной олимпиаде по физике занял второе место… Страница здоровья, страница с кроссвордом и анекдотами, некрологи и поздравления… Разворот объявлений. «Продаю», «куплю», «обмен», «ищу работу», «вакансии»… Выхватываю взглядом: «Бармен, кассир, посудомойка, официанты с 1.04.», «Официантки в летний ресторан. Отбор соискательниц с 15.03.», «Семья досмотрит пожилого человека за жилплощадь, порядочность гарантируем», «Напишу поздравления, адресы к памятным датам, юбилеям в стихах, быстро, профессионально», «Требуются менеджеры по рекламе»…

Кладу обратно.

— Да, — тут же вздыхает Ольга Борисовна, — читать совсем нечего... Кстати, слышали, — переходит она на жаркий полушепот, каким обычно делятся слухами, — в Ейске на стадионе изображение Богородицы обнаружили!

Ейск — городок на соседнем море. Такой же наверняка летом шумный, а зимой полумертвый.

— В каком смысле изображение?

— Да в прямом. Мне фотографии показали... Может, конечно, монтаж опять, но... не знаю... В общем, летчики над городом пролетали и заметили. На стадионе, прямо на поле футбольном, — лицо, фигура... Как это сделано?.. Если правда, то... — Ольга Борисовна замялась, кашлянула, всячески показывая, что не хочет верить, но факты сильнее веры, не веры. — Понимаете, если не монтаж никакой, то — чудо. Ведь бывает же... Иконы плачут, мироточат...

Поеживаюсь. Как-то действительно страшновато сидеть в тесной комнатке вместе с женщиной, которая начинает нести бред...

Кошусь на часы. Около четырех. Допиваю чай.

— Спасибо, — готовлюсь подняться, — очень вкусно.

— Да посидите, — просит Ольга Борисовна. — Куда спешить...

— Надо еще... — на ходу придумываю, — магнитофон надо из ремонта забрать. Что-то там... Кассета не крутится.

— Жалко-жалко. Поговорили бы.

— Я зайду завтра. Или послезавтра. — Встаю. — А сейчас надо...

Директриса просительно смотрит мне в глаза. Сматривает снизу, и от этого взгляд особенно беззащитный. Спрашивает:

— Как думаете, правда это?

— Что, изображение?

— Да.

Пожимаю плечами:

— Не знаю. Не видел же... Надо увидеть.

— Я попросила сделать копии. Принесу... Ведь если правда, то это к чему-то. Перед испытаниями, перед бедами всякими такое обычно... Много примеров.

— Ну, может, наоборот, — пытаюсь успокоить, кажется, действительно слетевшую с нарезки директоршу (никогда не замечал за ней тяги к мистике, и вдруг такое). — Может, хорошее что-то грядет.

— Правда?.. Хоть бы, хоть бы... Нет сил больше в этой пустоте находиться... У Виктора Пелевина книга вышла недавно... Глупая книга, пустая, но подзаголовок точный — «Ни мира, ни войны». Непонятность такая. Тревога и пустота. Лучше бы уж, думаю... Нет, не надо!

Она стала входить в спор с самой собой. На лице ежесекундно менялось выражение, изо рта вылетали междометия, бессвязные реплики. И я, бормотнув «до свидания», скорей вышел на улицу. Сбежал с крыльца.

Направляюсь к набережной. Нужно побывать рядом с морем...

Нет, на самом-то деле я понимаю Ольгу Борисовну. Очень хорошо понимаю. Поэтому и испугался. Зайтись в разговоре, начать безудержно выплескивать тоску и томление кажется мне опасным, губительным — можно в них захлебнуться.

Но от чего эти почти непереносимые, сводящие с ума тоска, томление, вечное ожидание худшего?.. Да, пусто в городе, да, скучно, да, зимой мы словно не на обочине даже, а где-то в кювете большой жизни, но вряд ли дело только в этом. Вряд ли...

По привычке двигаюсь к морю кратчайшей дорогой и оказываюсь опять на площади, где торчит Насибей.

– Во! Решился?! – Он хватает картонку и машет ею, раздувая угли. – Дава-ай, дорогой, я быстренько!..

Меня словно током шарахает бешенство, самое злое бешенство – смешанное с жалостью.  
– Н… нет! – выкрикиваю. – Не хочу!

Поворачиваю налево, прыгаю по ступеням лестницы… Берег. По хрустящей гальке шагаю на север, к укромному месту, которое называют Камушки. Это участок у самого моря шириной метров двести, заваленный валунами. То ли природные они, а скорей всего, привезенные когда-то для строительства набережной… Валуны разделяют галечный пляж и песчаный. Из щелей торчат ивы.

На Камушках я выпил свое первое вино, первый раз целовался. Там люблю посидеть в одиночестве, глядя вдаль, на горизонт, отключиться от ежеминутно теребящих мыслей.

На берегу холоднее, чем в городе. Под одежду лезет едкий не то чтобы ветер, а… Какое-то колебание воздуха, в общем. Море шевелится, но лениво, измученно. Вода темно-синяя, густая, как автомобильное масло. Кое-где плавают пористые, похожие на обломки грязного пенопласта льдины. Галька обледенелая, хруст ее противный, раздражающий. Пахнет холодной гнилью водорослей…

Летом здесь стоят надувные горки, работает прокат катамаранов, отдыхающих катают на водных мотоциклах, на бананах, тарелочках. Меж лежащими на ковриках и шезлонгах ходят продавцы пива, кукурузы, шашлыков из рапаны, мидий. Кричат: «Холодное пиво, горячая кукуруза!» Загорающие реагируют очень редко. Но однажды, видел, какой-то парень в жару стал выкрикивать: «Холодная кукуруза! Холодная кукуруза!» – и люди оживились, стали спрашивать, что стоит, покупали. Креатив.

М-да, кукуруза, кукуруза, ты тренируешь мышцы пуз…

На песчаном пляже я в сезон подрабатываю – протираю шезлонги. Нас шесть человек парней, дежурим по двое, по полдня. Руководит нами старуха Нина Викторовна. Сидит под зонтиком, у нее толстенная тетрадь с номерами лежаков. Целая таблица там, какие сданы и насколько, какие свободны… Записывает, зачеркивает, отмечает…

Работа у нас с парнями несложная: к восьми утра приносим из склада и расставляем на отведенном пространстве шезлонги, а потом по приказу Нины Викторовны протираем тряпочкой тот или другой, смахиваем песочек. Конечно, наблюдаем, чтоб кто на халяву не разлегся, не начал ломать, банально не спёр… Но все-таки утомительно по пять-шесть часов в день вот так торчать. Да и как-то… как-то стыдно, что ли. Не семнадцать лет, не двадцать…

А что будет через пять лет, когда мне стукнет сорок, через десять – думать страшно. Противно, точнее. Наверняка после сорока уже всерьез начнешь чувствовать, что старость недалеко. Пусть не старость, но уж точно молодость навсегда останется позади. Умрет… А каково женщинам… Ирине… «Я здесь старею…» Да, именно.

Вот и Камушки. Тот валун с плоским верхом, на котором я обычно сижу, прислонившись спиной к толстому стволу ивы… И кусок доски сохранился, который подкладываю под зад.

Устраиваюсь, нахохливаюсь, стараясь не пускать холод под одежду. Закуриваю. Смотрю на линию горизонта.

Там пусто. Ни кораблей, ни тем более паруса. Оранжевые буйки, ограничивающие территорию купания, на зиму сняты. Тихо, даже чайки куда-то делись… А чего им летать над таким морем? Впечатление, что в нем ничего живого. Действительно, как миллионы тонн автомобильного масла. Залили в эту огромную чашу и оставили. А мы верим, что это море.

С усилием вспоминаю лето, когда вода прозрачна, мягка. В ней плавают рыбки, иногда попадаются крошечные крабы, висят между поверхностью и дном беловатые сгустки – медузы. Обломки ракушек шторм приносит… Что еще… Что еще… Там, дальше от берега, говорят, много чего водится, даже дельфины и акулы, но я не видел.

На набережной в сезон появляется длиннющий, километра в три, ряд палаток, набитых морскими дарами. Звезды, засушенные колючие рыбы, огромные розовые раковины... Туристы скупают всё это на память. Но я знаю, что это дары не нашего моря, в лучшем случае не того, что находится рядом с городом. Рыб, раковины, звезды привозят из Турции и Египта. Да и почти всё остальное – шкатулки в виде пиратских сундуков, сумки, чашки, майки – тоже оттуда. Где-то какие-то турки и египтяне их делают, делают, упаковывают в коробки и отправляют сюда. Наши девушки, парни, тетки, дядьки с апреля по октябрь стараются как можно больше продать, чтобы с ноября по март, забившись в квартиры и домишкы, переждать зиму. А потом новый теплый отрезок года, который неизбежно сменится новой зимой. Пустой, долгой, лишней.

Да, нечего делать. Ни мне, ни Ирине, ни Ольге Борисовне. Ни Насибею. Ни еще нескользким десяткам тысяч людей в радиусе нескольких километров. Конечно, наверняка где-то сейчас проходят какие-то совещания и заседания по различным проблемам; у мэра, скорее всего, каждый день расписан, еще у сотни-другой тоже плотный график. А остальные?.. Да и у этих вряд ли. Может быть, дремлют в креслах. Тяжело, вынужденно дремлют, стараясь ускорить течение времени. Во сне время быстрее течет...

Я всячески, изо всех сил хочу настроить мысли на светлую волну. Я заставляю себя радоваться, что живу так, а не по-другому. Ведь раньше было хуже. Прошлым поколениям. Ни за что отправляли в ГУЛАГ, заставляли по шестнадцать часов лес валить, рыть каналы, камни перетаскивать с места на место. В войну работали на износ, после войны, когда Америку догоняли... А потом, в эти брежневские времена, при Андропове, Черненко (смутно, но помню их) гонялись за тунеядцами, принуждали трудиться, платили зарплату вроде терпимую, но которую не на что было тратить, если ходить по государственным магазинам. Ковры, хрусталь по талонам каким-то, очереди на годы; на машины – тем более; еды в продуктовых было так жидко, что туда не особо и заглядывали. За рисом с макаронами разве что. Покупали всё на рынке втридорога, начиная с овощей и кончая осетриной. Плевались, называли продавцов хапугами, но покупали. Так же, плюясь, шли в столовые, потому что только там можно было гречку поесть... Хм, диетическое меню...

Вроде бы невесело было, унизительно. Прямо такой радости воспоминания из детства у меня не рождают... Нет, было, конечно, много солнца, сладкая вата, молодые родители, бодрая музыка из громкоговорителей... Но у любого из детства можно выудить нечто хорошее. Даже самый забитый ребенок испытывал мгновения счастья... Но что там было, объективно? Теснота бабушкиной хибары, трясущийся холодильник, в котором редко когда были заполнены все полочки и ячейки; нудные уроки, неинтересные кружки, куда мама заставляла меня ходить, а я не хотел... Но все же люди были живыми и какими-то... В общем, радовались жизни. Знали не то чтобы смысл ее, а свое в ней место. На работу родители шли, конечно, не с песнями, но уж точно с желанием. По вечерам обсуждали рабочий день, иногда расстраивались, что план под угрозой срыва, радовались грамотам, гордились каким-то Потылицыным (до сих пор торчит эта фамилия в мозгу), который получил однажды медальку «Победитель соцсоревнования» в восемьдесят каком-то году...

Папа очень переживал за свою фабрику, особенно когда по всей стране начались перемены. Боролся за что-то и против чего-то... Может, из-за нервов и заболел, и умер. Умерла и фабрика (железобетонные стены торчат на окраине до сих пор, всё железо давно вывезли), и ничего – город-то жив. Наоборот, как я узнал из телевизора и газет, это пошло ему во благо, так как фабрика последние два десятилетия работала в убыток, высасывала бюджетные деньги. Вообще, дескать, промышленность в нашем регионе нецелесообразна и неуместна и надо развивать санаторно-курортную инфраструктуру. Но что-то она нешибко развивается – две гостиницы и три санатория и в сезон стоят полупустые. Приезжие предпочитают снимать квартиры

и комнаты, для них самое важное – море. Те, кому важна инфраструктура, едут в Египты и Турции. Там, говорят, всё давно почти идеально.

Пытаюсь думать о лете, представить, как здесь будет. Десятки девушек, стройных гладких девушек в крошечных купальниках... Как я знакомлюсь с одной из них, или другой, или двадцать пятой, иду с ней вечером в парк, угощаю мороженым, вином, катая на американских горках, а потом приглашаю к себе... Да, до ломоты в скатах хочу представить это, увидеть мысленным взглядом, а вместо этого в голову лезет липкая жуть... Позапрошлой зимой стал свидетелем такого...

Сидел так же, на этом же месте, и увидел – на песчаный пляж пришел человек. Потоптался у самой воды, стал раздеваться. Куртка, шапочка, свитер, ботинки, штаны, футболка... Я наблюдал за ним без любопытства, вполглаза – моржей у нас хоть и не много, но изредка купаются зимой... Мужчина забрел в воду по пояс, помахал руками и поплыл. Море было спокойным, я долго видел его всё уменьшающуюся и уменьшающуюся голову. Потом перестал различать. Посидел еще минут десять, стал беспокоиться. Столько времени и суперморж в воде чуть за плюс пробыть бы не смог.

Помню, поднялся, смотрел туда, куда уплыл человек. Никого не увидел. Лишь вялое колыхание воды.

Покурил. Подошел к горке одежды. Постоял над ней, огляделся. Трогать опасался: вдруг разводка – трону, и тут же выскочат из-за веранды летней кафешки: «А, вор! Попался, сука!» И предложат: или плати, или потащим в отделение.

Так и ушел. Никуда не заявил. Заявлю, и начнут мурыжить допросами, путать, к каждому пустяку придиরаться. Менты тоже скучают и от скучи за любую мелочь цепляются. Часто устраивают облавы на автобусных зайцев, и не для того, чтобы какой-то свой план выполнить, а чтобы с тоски не чокнуться, друг друга не перестрелять...

В первое время я был уверен, что мужчина хотел искупаться, не рассчитал силы и утонул, а потом вспомнил, что он пришел без сумки или пакета, в котором бы лежало полотенце, да и вообще не был похож на моржа... Но и для самоубийства способ довольно экстравагантный. Хотя как знать – я зимой не купался. Ни разу... Пока еще не купался ни разу...

Черт, на хрен такие мысли! Можно додуматься...

Вскакиваю, иду к лестнице. Надо домой. Темнеет... Разденусь, душ приму, упаду в кресло, включу телевизор. Нагулялся.

И сейчас я уверен, что действительно нагулялся. Надолго. По меньшей мере неделю не выйду из квартиры. Разве что в ближайший магазин за пельменями и хлебом. Буду сидеть и смотреть телевизор. Тупо наблюдать за движущимися картинками... Или видик снова подключу, пересмотрю кассеты с кровавыми боевиками и ужасами, которые любил в двадцать лет...

Почти бегу через парк. С ненавистью кошусь на замершие аттракционы. Важные части сняты до весны, остались лишь каркасы. Да и за ними присматривает охранник. Специальный вагончик у него. Сидит, пялится в окно, пьет чаек, иногда обходит территорию. При деле... Столько на эти аттракционы потрачено денег, а результат... Одна из двадцати девчонок, весело проводящих со мной вечера, не отказывающихся от предложений покататься, съесть вкусное, выпить, шла потом ко мне. Остальные девятнадцать предпочитали сваливать. Извинялись, обещали встретиться завтра, целовали в щеку и – топ-топ к себе на съемные хатки, в номера санаториев, к бабушкам, к родне...

А скоро и этой одной из двадцати не будет. Может, одна из пятидесяти или из ста... Пока я еще похож на парня (тридцать шесть мне не дать, разве что волосы над ушами слегка седоватые, но когда стригусь коротко – не заметно), но это не вечно же... Кому нужен стареющий самец? Сорокаслишнимлетний... В лучшем случае такой же стареющей, с обвалившейся

грудью и рухнувшим задом. Секс полустариков. Щелканье суставов, хлюпанье морщинистого члена в разношенной дырке...

Всё, всё, всё – хватит об этом! Никто мне не нужен на самом-то деле. А с инстинктами вполне можно бороться, подавлять. Увлечься чем-нибудь... Наталья борется, она наверняка не думает каждую минуту о мужиках, о том, что замуж пора. Читает стихи, плачет над ними очищающими душу слезами, рассматривает альбомы, и репродукции заменяют ей гулянье по Эрмитажу и Третьяковке... Я вот подумал, что она отравилась. Наглоталась таблеток, чтоб умереть. Нет, она не способна. Она знает, что должна жить, дальше тянуть светлую ниточку, держась за которую другие могут выйти на свет из этой многолетней тьмы. Дотерпеть до настоящей весны. Поторопить приближение.

Да? И что ее ждет, Наташу, сегодня хрупкую, возвышенную девушку (совсем девочку на вид)? Что с ней будет через десять лет, через двадцать, если она так же будет тянуть эту нить, а весна всё не наступит? Станет Ольгой Борисовной, а может, превратится в карикатуру на себя саму... Смешно быть восторженной и нежной душой в сорок пять лет... А весны для Наташи не наступит, никто за ее светлую ниточку не схватится. Так и будут заходить в ее музейчик вялые, изнывающие от жары и пота туристы в сезон, а в несезон она будет пить чай и сгорать со скуки... Потому и счастливо улыбается мне при встрече, возится со мной, дает книги, спорит о поэзии. Других нет, больше никого нет... И в «Прибой» на Лигу чемпионов сегодня никто не придет. Дома посмотрят. И бокал халывного пива не вытащит... Ирина будет стоять и ждать, а никто не придет... Будет ждать уже не принца, не капитана Грея, который увидит ее и увезет в большой мир; нет, будет ждать эту гопоту, которая, проглотив пол-литра халывного пива, захочет еще. И купит. И завтра хозяевам можно будет похвалиться: выручка за прошлый день в пять раз больше, чем обычно!.. Нет, никто не придет, мои крохи будут единственным доходом... И я не приду на футбол. И во втором часу ночи Ирина посеменит на своих каблуках со своими бритыми подмышками и лобком, эпилированными ногами домой. Упадет на кровать. Свернется калачиком, сожмется, заноет... Одна, одна...

Влетаю во двор, нашупываю в кармане ключи.

А по двору плывет красивый распев местного сатаниста.

– ...Утоли все горести наши да печали, вседержитель ты наш, спасите-ель...

Он стоит на балконе третьего этажа голый по пояс. Руки раскинуты, голова задрана к темно-серому небу. Изо рта при каждом слове вылетает столбик пара.

– ...Дорогой чёрной идем, в церквях черных молитвы воздаем, души и плоть тебе отдаем...

Взял бы да прыгнул вниз. Но ведь не разбьется. Третий этаж всего. Газон. Но, может, ногу сломает. Заорет от боли, и боль сотрет всё остальное.

– ...Кто в почете да славе живет, всю благодать твою на себя собере-от...

Ко мне сбегаются кошки, а я, словно это крупные хищники, которые сейчас растерзают, расташат по куску в свои укрытия, бросаюсь от них. Тыкаю магнитиком в кружок возле двери. Писк. Открываю, врываюсь в подъезд, лезу по лестнице... Запереться, включить телевизор, влипнуть в кресло.

И отлипнуть, когда всё кончится.

# Чего вы хотите?

## Глава 1

*18 декабря 2011 года, воскресенье*

– Дашуна, вставай, – мамин голос. – Вставай, нас ждут великие дела... Слышишь, Даша?  
– Да, – простонала она, пытаясь прорваться из легкости сна в тяжелую плотность яви.  
Не получилось, сон снова опутал и понес, будто волны на море...  
– Дарья! – звуковой удар. – Ну сколько можно?! Профессор опять злиться будет... Проприала же вчера раньше лечь.

– Встаю.

Даша ногами стянула с себя одеяло, села на кровати. Мама стояла возле.

– Всё, иди, я собираюсь.

– Ну смотри... – Мама погрозила голосом и ушла.

На застекленной и утепленной лоджии было тесно, но это все равно лучше, чем в одной комнате с сестрой. Свое пространство.

Надела теплые колготки, сменила майку на лифчик и кофту. Кое-как заправила постель – так, набросила покрывало на комок одеяла. Пошла в туалет, оттуда – в ванную. Почистила зубы, умыла лицо одной ладонью. Посмотрела на себя в зеркало, поморщилась, стала замазывать тоналкой прыщи на лбу... Заглянула мама:

– Поторопись... Зачем ты красишься? И так красавица у меня...

– Мам, закрой дверь, сейчас я выйду.

– А фагот уложила?

– Да!

– Не рычи. – Дверь закрылась.

...На кухне вкусно, но и как-то противно пахло омлетом с сосисками. Мама резала батон. На кухонной лоджии, этой осенью тоже застекленной и утепленной, превращенной в кабинет, папа быстро писал в тетрадь, из ноутбука звучал звонкий женский голосок:

– ...У меня есть замечательная новость для Владимира Владимировича! Она заключается в том, что он в одиночку, в течение дня... не дня даже, просто нескольких минут, может остановить эпидемию страшного наркотика, который вызывает привыкание с первого раза, при котором человек сгнивает заживо за пару лет...

– Даш, садись, – кивнула мама на стул. – Омлет будешь?

– Нет, не хочу.

– Давай поешь – нам целый день сегодня...

– А сок есть?

– Кончился. Йогурт есть.

– Я лучше йогурт...

– Иди бери в холодильнике.

– ...«Крокодилом» он называется потому, – торопился голос из ноутбука, – что кожа у наркомана сперва становится бугристой, а потом начинает гнить плоть, мясо буквально отваливается кусками...

– Роман! – сердито воскликнула мама, – выключи, пожалуйста! И иди завтракать.

Папа выключил звук, вошел на кухню. Недовольно ответил:

– Мне это для повести нужно.

– Ну слушал бы в наушниках. А то с утра таким по мозгам.

– Сломались наушники. – Папа уселся за стол, но тут же встал, принес с лоджии кружку с остатками кофе. – Вы ешьте, я попозже… с Настей… Так посижу. – И принял свой обычновенный отсутствующий, такой обижающий и раздражающий Дашу вид.

– А про что повесть будет? – спросила она, чтобы вернуть его внимание.

Папа то ли усмехнулся, то ли покривился одной стороной лица.

– О сегодняшней жизни в России.

– М-м… И какая она?

– Так…

– А что это за «крокодил»?

Папа хотел что-то ответить, но мама опередила:

– Так, Даш, доела? Поехали! – И повернулась к папе: – Как там погода, не знаешь?

– Хм, около нуля.

– Я серьезно!

– Ну действительно. Ноль – плюс один обещают.

Мама вздохнула:

– Десять дней до Нового года, а снега так и не было… Всё, Дарья, по коням!.. Да, и возьми историю – зачет на носу.

Дом – семнадцатиэтажная башенка – совсем рядом с метро, буквально тридцать шагов от подъезда до станции. Удобно, конечно. Но нет ни двора (вместо него – парковка), ни скамеек, ни детской площадки. Вышел – и сразу попал в круговорот бурной московской жизни с ее толпами, палатками на тротуарах, разворачивающимися среди пешеходов машинами, раздатчиками рекламок… И хочется скорее заскочить в метро, где хоть какой-то порядок, а потом из метро – скорее домой, в пускай относительную, но тишину, хоть в какую-никакую, но надежность…

Сегодня воскресенье, еще рано – начало девятого, но все равно людей полно. И на улице, и в метро. В метро в это время почему-то в основном явно недавно приехавшие в Москву. Передвигаются медленно, стайками, как-то ошелепо и жадно поглядывают вокруг, путаются в переходах, вклиниваются во встречные потоки. Их называют гастарбайтерами, но Даше не верится, что они где-то работают. Кажется, так вот и бродят стайками под землей целыми днями.

Мама мгновенно напрягается, когда такая стайка оказывается рядом, тревожно посматривает на Дашу. От ее взгляда Даша теряется, чувствует себя маленькой и беспомощной.

– Пойдем быстрее! – торопит мама, хотя торопиться сейчас некуда, а нужно просто ждать поезда. Но мама, видимо, считает, что стоять опаснее, чем идти.

На станцию влетает поезд; мама с нетерпением наблюдает, как он тормозит. Когда открываются двери, врывается внутрь.

В вагоне осматривается, но не в поиске свободных сидений, а старясь не оказаться рядом с подозрительными, бомжеватыми.

Вот есть, по ее мнению, подходящее место – пространство между аккуратно одетым мужчиной и девушкой, читающей журнал.

– Сядем?

Даша кивнула. Снимает с плеч футляр с фаготом. Садятся.

Двери захлопнулись, поезд тронулся.

Даша вставила в уши наушники-таблетки, включает Николаса Хупера… Еще с год назад она была фанаткой истории о Гарри Поттере, потом стала фанаткой «Сумерек», но музыка

Хупера из фильмов нравится до сих пор. Успокаивает и как-то защищает. Особенно когда ты в недружественном пространстве.

Прикрывает глаза, мысленно оказывается не в вагоне метро, а в поезде, везущем ее среди гор. Заснеженных, высоких гор. Нет никаких дементров, никакой опасности. Всё хорошо... И тут слышит сквозь музыку голос мамы. Слов не разобрать. Даша убавляет громкость.

– Почитай историю пока, – просит-требует мама. – Сдашь, и там каникулы. Отдохнешь.

Даша вздыхает, достает из накладного кармашка футляра учебник. «Новая история зарубежных стран. 8 класс». Скучная и малопонятная история – больше про всякие политические изменения, чем про события. Раньше было интересней и проще – войны, Крестовые походы, борьба городов с феодалами... Листает, отыскивая, что еще не читала или забыла... Вот двадцать шестой параграф – «У порога мировой войны».

Снова прибавляет звук плеера и под музыку начинает:

«Летом 1914 г. мир оказался на пороге неслыханной по масштабам войны. Вы уже узнали о событиях последних предвоенных лет, о том, как сформировались два военно-политических блока...»

Даша пытается вспомнить, как они сформировались, но не вспоминается. Лезть в предыдущие параграфы желания нет... Потом как-нибудь... Двигается взглядом дальше, но внимание рассеивается, глаза перескакивают ниже, ниже...

«...Казалось бы, определяющей чертой империализма должна была являться агрессия, военные захваты... Наиболее активные страны стремились подчинить себе как можно больше государств и земель, наводняя их не своими войсками, а капиталом, финансами. Вывоз капитала в той или иной форме резко усилился: он давал хозяевам капитала...»

«Капита-алом, капитала-ла», – закрутилось в голове под музыку; Даша отвела взгляд от учебника, наткнулась на журнал в руках девушки слева.

Почти во всю страницу был изображен пожилой, седой, но стильный мужчина в черных очках. А по краю страницы узким извилистым столбиком теснились слова.

Жирным шрифтом: «Вы живете в шести разных местах. Где эти места?»

Обычным шрифтом: «В моем офисе я провожу большую часть своего времени. У меня еще есть таун-хаус для развлечений, а также фотостудия. Они находятся недалеко от офиса. Еще у меня есть две квартиры, они предназначены для гостей, потому что гостей у себя дома я не хочу видеть. Не приемлю распущенности».

Жирным: «Когда вы в последний раз были влюблены?»

Обычным: «Я не знаю, я люблю свободу».

Жирным: «Если бы у вас был ребенок, что именно из своего опыта вы бы ему передали?»

Обычным: «Знаете, почему у меня нет детей? Потому что мне нечего передавать. Каждый должен прожить собственную жизнь. Я не верю в опыт, потому что всё, что я видел, чему учился и то, что со мной происходит, было в другом времени, а мир сейчас изменился. Я думаю, каждый должен найти свой путь. Я терпеть не могу в отцовстве то, что ты сразу становишься в ряд поколений. Я не хочу быть ни отцом, ни дедом. Я вне поколений, я на все времена».

Толчок. Даша поворачивается к маме – та что-то говорит. Убавляет громкость плеера.

– Что, мам?

– А заколки взяла? А то профессор опять будет ругаться, что глаз не видно...

– Да взяла, взяла.

– Ладно, читай. – Сама она, хоть в сумке планшетник, просто едет; точнее, едет и беспокоится обо всем.

Даша уставилась в учебник, упорно стала вбивать в голову скучное и ненужное:

«...Однако теперь интересы власти и монополий во многом объединились: в одних ситуациях власть использовала в своих целях финансовую и промышленную мощь монополий, в других – монополиям удавалось влиять на политику правительства, «подправлять» ее».

Нет, не вбивается. Даже затошнило от всего этого. Непредставимого, сложного. Власть использовала какие-то монополии, монополии влияли на правительства... Закрыла учебник, сунула в футляр.

Со станции «Тверская» перешли на «Пушкинскую», доехали до «Улицы 1905 года». По обледенелым, почти безлюдным узким тротуарам направились к музыкальной школе... Даша ходит здесь по два раза в неделю уже больше года, но никак не может привыкнуть, что это тоже Москва.

Невысокие домики, но какие-то впечатляющие, крепкие, словно бы заслоняющие многоэтажки за собой, уютная голубенькая церковь, а главное – подъемы и спуски... Но, может, когда-то вся Москва была невысокой, уютной, с оврагами и холмами, а потом уж поднялась, разрослась, и асфальт сгладил большинство неровностей...

Музыкальная школа снаружи, да и изнутри, не очень-то веселая – трехэтажное здание из темно-красного кирпича. Такая же по форме, но из бетона, стоит недалеко от их дома, и вообще подобных школ – и музыкальных, и просто, – кажется, немало.

Даша учится в центре – между «Тверской» и «Маяковской». Раньше это была женская гимназия, потом там учились дети руководителей государства, а теперь обычные дети. Недалеко музыкальная школа имени Шопена, и в ней Даша стала заниматься пианино и фаготом, но прошлой осенью мама добилась перевода сюда. По воскресеньям и средам здесь преподает знаменитый во всем мире фаготист, профессор консерватории. Приходит в зал к восьми утра и очень сердится, если ученики слишком опаздывают.

За этот год Даша заметно продвинулась – и сама замечает, и все говорят. Но каждый урок с профессором для нее как пытка. Очень он требовательный, ругается, не стесняясь... Мама недавно сказала, что он болен раком, и, наверное, чувствуя, что скоро умрет, профессор и старается больше передать другим, спешит и заставляет учеников спешить тоже.

Дашу и злило это – его торопливость и требовательность, – и вызывало жалость к нему: было жалко, что такого человека скоро не станет...

И вот сейчас, только вошли, наткнулись на раздраженно-укоризненное:

– Занятие началось больше часа назад! Нужно уважать мое время.

– Извините, Андрей Викторович, – ответила мама, – проспали.

Профессор поджал свои тонкие синеватые губы, и они совсем исчезли. Отвернулся.

В зале, кроме Андрея Викторовича, его студент и ассистент Саша. Никого из учеников, а их восемь... Да, можно понять состояние профессора, просидевшего здесь без дела час с лишним... Подгоняемая шепотком мамы, Даша расстегнула футляр, стала собирать инструмент... И профессор, и Саша молчат. Молчат тяжело: профессор – негодующе, Саша – опасливо; оба держат свои фаготы вертикально вниз, словно копья средневековые рыцари.

Вот и ее фагот готов, эс с тростью вставлен во флигель. Даша пробует звук.

– Хорошо, – слегка смягчается профессор и левой рукой (правая обхватывает инструмент) указывает на сцену. – Прошу.

Во время отчетных концертов и других выступлений сцену при помощи освещения делают свежей и чистой. В остальное же время она выглядит очень безрадостно – сероватая от старости краска, кулисы по бокам, как морщинистая кожа, выпиленная из фанеры лира на заднике в каких-то трещинах... Даже рояль имеет вид опрокинутого шкафа. Но школа на хорошем счету, уникальная по числу пробившихся в большую музыку выпускников.

Минуты три Даша разыгрывается и, почувствовав, что губы, дыхание готовы, вынимает трость изо рта и смотрит на профессора. Он говорит:

– У тебя, если не ошибаюсь, «Полька» Шостаковича?

Даша кивает.

– Слушаем.

Она снова пробует звук. Делает паузу и, вогнав внутрь, до самой глубины живота струю воздуха, начинает исполнение.

Когда две недели назад Андрей Викторович, задав разучивать «Польку», продемонстрировал, как ее играть, Даše показалось, что это легко и просто. Но потом стала разбирать и пришла в отчаяние – пальцы не дотягиваются до клапанов, дыхалки не хватает. Сняла фагот, легла на кровать. Не подтянула к себе ноутбук, а пыталась проиграть «Польку» в голове.

В голове мелодия звучала, а на деле... По несколько часов в день в квартире раздавались отрывистые, дикие звуки. Папа, заглядывая к ней, пытался понять, балуется она или нет. Видел, что перед Дашей ноты, сочувствующе качал головой и уходил... Наверняка эта какофония мешала ему работать.

Постепенно, очень медленно, обрывки стали превращаться в нечто благозвучное – две-три-четыре ноты сливались, и получалась фраза.

Позавчера буквально удалось соединить фразы в пусть прихрамывающую, корявую, но все-таки цельную мелодию. И сейчас Даша пыталась, под взглядом профессора, выправлять эту хромоту и корявость.

Закончила, отдернула ото рта эс, громко задышала.

– Молодец! – почти восторженно выкрикнул Андрей Викторович. – Молодец, – повторил уже другим тоном, обещающим жесткий разбор.

Несколько секунд тишины.

– М-да... – Профессор поднялся. – В целом, в целом – неплохо...

А потом Даша услышала такое знакомое «но» и за ним – десятки и десятки замечаний.

Профессор велел Даше играть «Польку» по фразе и после каждой повторял ее сам. Звук выходил из трубы легко и красиво.

– А у тебя что, Дарья?! – говорил укоризненно и даже как-то презрительно. – Попробуй еще.

Даша пробовала, но получалось хуже, чем было – как обычно, эти экзекуции вызывали у нее только обиду, и хотелось сорвать фагот с ремешка, швырнуть в профессора и убежать. Ведь так тяжело далась ей эта «Полька», и всего две недели как начала разучивать... Но от того, чтобы действительно психануть, удерживало сознание, что потом, дома, завтра, в следующие дни безжалостность профессора будет ей помогать. Его обидные слова, мелочные придирки превратятся в советы...

– Ведь это же музыка, Дарья! Му-зы-ка, а не буксующий самосвал. Нужно представлять себя внутри мелодии и парить вместе с ней. Всем существом!.. И только тогда ты сможешь сыграть. Только тогда! Ты понимаешь?

– Понимаю, – выдавила из себя Даша и добавила про себя: «Парить... Как бы не задохнуться думаешь».

– Так, – Андрей Викторович смягчился, – хорошо. – И переключил внимание на следующего ученика (оказывается, уже несколько человек успели прийти, а Даша не заметила): – Максим, поднимайся.

Теперь за Дашу берется Саша.

Ему двадцать один год, он учится в консерватории, самый талантливый студент профессора. А может, не самый талантливый, но самый преданный и упорный. Больше других занимается, внимательнее других слушает... Даše он нравится, и когда Саша рядом, она чувствует волнение, приятное и странное такое волнение. Ей кажется, что Саша ее выделяет, объясняет ей технику подробнее, чем другим, занимается с ней с большим интересом. Наверняка это происходит не только из-за Дашиной одаренности.

Часто у нее появляется уверенность, что это волнение и есть та самая любовь, о которой говорят все вокруг, но поверить по-настоящему мешает чувство какой-то жалости к Саше. Вот воскресенье, а он снова здесь – тихий, внимательный, терпеливый. Будто у него нет ничего лучшего в жизни, чем эти занятия, фагот, неумелые ученики...

Занятия с Сашей происходят в маленьком классе рядом с залом. Мама тут же, наблюдает, пытается запомнить важное, чтобы потом, если что, подсказывать.

Минут через десять в класс заглядывает Максимова мама:

– Можно?

– Еще не закончили! – бросает в ответ мама Даши.

– Подождите, пожалуйста, две минуты, – как-то виновато добавляет Саша.

Дверь закрывается.

– Так, – Саша показывает длинным, но крепким пальцем на ноты, – давай пройдем еще раз вот этот кусочек. Не торопись, главное пока не виртуозность, а четкая техника. Темп постепенно будем увеличивать…

Конечно, не через две минуты, а намного позже Саша отпускает ее. Садятся с мамой в зале в задние ряды, наблюдают, как профессор распекает очередного ученика. Сейчас это полненький, вечно сонный Артем. Год назад, когда профессор набирал группу, игра Артема произвела на него впечатление. Андрей Викторович даже объявил: «Да, юноша, у вас несомненно есть данные. Есть!» Но за год Артем почти не продвинулсь – играет так же вяло и механически и лишь иногда выдает действительно мастерские кусочки. Слушая его игру, Даше представляется, что она тяжело бредет по серой, безжизненной земле, но вдруг появляется полянка ярких цветов, и она делает легкий шаг – это Артем вдруг извлекает несколько прекрасных звуков, – а потом снова серость, мусор, тяжесть, тоска…

– Послушай, – останавливает его профессор, – послушай, Артемий. Подожди!

Артем прекращает вымучивать тему, опускает фагот. Виновато смотрит в пол, как двоечник.

– Скажи мне честно, – профессор еле сдерживает гнев, его голос глухой и придушенный, – скажи, ты хочешь стать музыкантом?

Молчание.

– Да или нет?

– Да, – тихо произносит Артем, – хочу.

– Это честно?.. И ты сам выбрал фагот?

– Да…

– А я в этом не уверен. Я просто не слышу, что ты хочешь научиться. Что ты любишь свой инструмент! Когда любят, не позволяют так издеваться… Ведь ты над ним издеваешься… издеваешься над музыкой!

Артем виновато кивает. И Даша тоже ощущает вину, будто это говорят и ей. Тем более что профессор, она знает, сейчас обратится к нему ко всем… Даша смотрит мимо Андрея Викторовича, видеть его больно и страшно. Сухой, лицо серо-синее, вместо щек вмятины; кажется, что под кожей нет крови, мяса, а только кости и высыхающие жилы. Но глаза горят, жгут всё, что видят, стараются прогнать холод, дрему, оживить. Успеть это сделать, пока он здесь, на земле…

– Ребята, если вы выбрали фагот, то должны… Должны! Вы должны отдать ему всё, всего себя. Для вас ничего больше не должно существовать. Музыка забирает человека целиком. Нет никаких половинок, частей. Для вас – если вы действительно хотите быть музыкантами – должна существовать только музыка!

– Простите, – голос.

Поднимается незнакомый Даше мужчина, видимо, чей-то папа… Да, вот рядом с ним Оля Мухина, подергивает мужчину за рукав, призывая не спорить.

– Простите, но у них есть еще школа. Там тоже требуют и математику, и историю, химию, остальное. Да и они ведь дети еще – им поиграть хочется.

В первый раз, что ли, здесь – не знает, как профессора такие слова возмущают…

– Пап, не надо, – тянет его Оля, – па-ап.

— А что я такого? Все требуют, требуют, мне даже жалко...

Лицо Андрея Викторовича становится совсем серым, даже жуткая синева исчезает, но эта серость еще страшнее. Будто кожа отмерла окончательно и сейчас начнет отваливаться.

— Детство... — не ртом, а как-то горлом произносит он, — школа... игры... Я... я никого не держу. Ни-ко-го! Вы сами ко мне пришли и... И я... — Профессор протяжно, со свистящим стоном выдыхает, не вздыхает, а именно выдыхает: — Кто выбрал музыку, обязан забыть об остальном... И я не требую играть сутками. Не требую! Но... Два-три часа в день — непременно. Обязательно! По пятнадцать минут... Два-три часа, иначе — без толку. И — читать ноты, и — играть в воображении. Тренировать пальцы... Я не требую много... Вы просто... Вы просто-напросто не хотите... И тогда — не надо.

Профессор прокашлялся, отдушился и после этого заговорил почти жалобно:

— Понимаете, ребята, именно сейчас, сейчас вы строите свою жизнь. В двенадцать-четырнадцать лет. Сейчас... Потом будет поздно. Всё закладывается сейчас. Мастерство, знания... Всё! А вы так... вы так растратываете самое важное время... А в семнадцать будете локти кусать, ничего не умей толком, не зная, не понимая. И всю дальнейшую жизнь придется заниматься тем, что не любите, работать не для души, а лишь для денег. А это — страшно. Поймите вы это, ребята!

В половине двенадцатого вышли из школы. Нужно было ехать к Татьяне Петровне на сольфеджио. Она жила на «Добринской» — минут двадцать отсюда на метро и там еще немного пешком...

По дороге к станции молчали. Даша чувствовала себя разбитой, избитой какой-то. Впрочем, это почти всегда случалось после подобных речей профессора. Ей казалось, что она действительно ничего не умеет, не понимает и никогда не поймет, ничему уже не научится.

Уж точно не научится играть на этом ужасном, огромном фаготе. Каждый звук из него достается с таким трудом, такой мукой... И хотелось, прямо дергало изнутри сказать маме: «Всё, я больше не буду, не могу. Всё!» Но мама, конечно, начнет сердиться, говорить, что столько затрачено сил, времени, «денег, в конце концов». И что Даша делает успехи, и фаготистки — на вес золота. Это пианисток, скрипачек — море, а фаготисток — единицы. В любой оркестр путь открыт, в любой ансамбль. Сейчас и в джазе фагот используют...

Да и это ощущение избитости, Даша знает, пройдет, сменится уверенностью и интересом, желанием доказать, что профессор не прав: она не ленится, она старается. Но вот сейчас... Сейчас очень тяжело. Очень тяжело переживать это состояние.

— Что, может, пиццу съедим? — предложила мама, когда проходили мимо пиццерии неподалеку от метро. — Время есть еще.

— Ну давай.

— Ты вообще хочешь есть?

— Так...

Даша на самом деле не знает, хочет или нет. Хотелось оказаться в своей комнатке-лоджии, открыть ноутбук, спрятаться в лабиринте интернета...

— Вам курящий зал или... — встретила в самых дверях девушка с бейджиком.

— Конечно, некурящий! — мгновенно раздражилась, а может, испугалась резкого вопроса мама. — Вы же видите, я с ребенком!

— Извините, всяко бывает... Пожалуйста. — Девушка указала направо. — У нас здесь сегодня день рождения, но места свободные есть.

Да, в пиццерии было шумно и весело. За длинным, почти через весь зал, столом сидели взрослые, у некоторых на головах были маленькие яркие колпачки из картона... Клоуны делали из длинных шариков зверушек, цветы, мечи, играли с детьми; одна клоунесса рисовала на детских лицах бабочек, кошечек, разные узоры...

Мама и Даша повыбирали пиццу. Сошлись на ветчинной.

– Она не острая? – уточнила мама у официантки.

– Нет-нет, эта – нет. Большую, среднюю, маленькую?

– Среднюю… Так, и пить… – Мама снова залисталась меню. – Мне американо.

– А мне сок апельсиновый, – добавила Даша.

– Свежевыжатый или простой?

– Простой. – Свежевыжатый, она знала, намного дороже.

Официантка записала, забрала меню и ушла.

Молча ждали, когда принесут заказ… Дашу злила чужая веселость, дети казались все глупыми, а взрослые выглядели какими-то, как из мультиков.

Тут еще мама подбавила – заметила, видимо, что она поглядывает на праздник, и предложила:

– Иди, Даши, поиграй. Вон девочка твоего возраста… Или пусть сову на щеке нарисуют. Я заплачу, если что… Тебе же нравятся совы.

– Мама, детство кончилось.

– Да перестань! – Мамины губы дрогнули и изогнулись в жалкую улыбку. – Всего две недели как четырнадцать лет, и уже кончилось…

– Слышала же, что профессор говорил?

– Мало ли что он говорил! – И тут же спохватилась: – Но в целом он прав. Только упорным трудом чего-то можно достичь… К тому же у него и личное. Я ведь рассказывала? Нет?..

Даша пожала плечами. Мало ли что мама ей рассказывала и не рассказывала.

– Его отец был известным трубачом и был уверен, что у Андрея Викторовича нет таланта. И сказал: «Ты никогда не станешь большим музыкантом». Андрей Викторович перешел с трубы на фагот, который в сто раз сложнее, и стал самым известным. Его во всем мире знают. Видела же, сколько на него ссылок в интернете, статья какая в «Википедии»…

Принесли пиццу – еще шипящую, ароматную, – напитки.

– Приятного аппетита! – пожелала официантка.

– И счет, пожалуйста. Нам сразу бежать… Даши, что сегодня на сольфеджио?

– Триоли.

Домой вернулись в четвертом часу. Еле дотащились. Занятия, переезды, сама Москва вытянули все силы.

В прихожей скандированием встретила Настя, младшая сестра:

– Рас-си-я! Рас-си-я!

– Что, опять биатлона насмотрелась? – не особенно радостно отреагировала мама.

Папа ответил:

– Глянули повтор вчерашней гонки.

– Там Зайка победила! – уверенно стала рассказывать Настя. – Она российская…

– Ладно, зайка, дай нам отдохнуться.

Настя тут же насупилась:

– Я не зайка. Я – Настя. Я буду чемпионка танцев!.. Ладно, мне надо мультики… – И убежала в свою комнату.

Иногда пятилетняя сестра кажется Даше уже взрослой, всё понимающей. Но чаще – пребывающей и как-то специально заставляющей себя пребывать в том периоде детства, когда еще можно многое не понимать, позволительно капризничать и не слушаться. И от этого Даши становится как-то завидно, и она вопреки здравому смыслу злится на сестру.

– Есть хотите? – спрашивает папа.

– Я – нет, – ответила Даша и тут же автоматически поинтересовалась: – А что есть?

– Курица по-ростикски и рис.

– О, тогда курицу буду!

«По-ростикски» папа называет куски курицы, обвалянныес в муке со специями и зажаренные на сковородке в большом количестве масла. Мама эту еду считает вредной – «поэтому и такие пухлые все, кроме тебя, курильщика!» – но иногда готовить не запрещает: действительно вкусно.

Переоделись в домашнее, умыли руки, прошли на кухню.

– А вы с Настей будете? – спрашивает мама папу.

– Мы недавно... Не дождались. Я с вами чай попью.

Сначала Даша, а потом мама накладывают себе еды на тарелки. Садятся за обеденный стол. Не верится, что еще три месяца назад здесь, на кухне, был папин кабинет: письменный стол, полка с книгами, даже маленький диванчик. Ели за столиком, который каждый раз приходилось раздвигать, а чаще всего в комнате, перед телевизором... Но в начале сентября папа получил второй в своей жизни крупный гонорар, и его хватило, чтобы застеклить и утеплить лоджию. С тех пор кухня, впервые на Дашиной памяти, снова стала полноценной кухней. И всё равно на ней тесно – повсюду посуда, разные миксеры, мясорубки, пароварки, которыми очень редко пользуются. Была бы Дашина воля, она бы вообще выбросила из квартиры почти всё. Почти все вещи. Они давят, мешаются, лезут в руки.

– Что там в мире происходит? – интересуется мама.

Папа задумался.

– Да так... В Охотском море буровая платформа затонула. Буксировали, а на ней куча людей, и неизвестно, что с ними... Удальцов в реанимации...

– Ур-роды, – сочно произносит мама. – Убивают человека просто!

Вбежала Настя.

– Мам, а вы чего-нибудь купили вкусного?

– Мы не были нигде – с занятия на занятие... А, пицца осталась! Дащ, достань.

Даша сдерживает фырк – «почему я, когда ей нужно?!» – поднимается, идет в прихожую, находит в маминой сумке пластиковый контейнер. Куски пиццы были сморщенныес, сыр ядовито желтеет, куски ветчины ярко-красные, словно сырье. Сейчас Даша не понимает, как это вообще можно есть.

– Разогреть? – спрашивает мама Настю. – Или так будешь?

– Лучше так.

– Дащ, еще тарелку ей дай...

Схватив тарелку с куском пиццы, Настя бежит к себе. Даша посыпает ей вслед:

– А спасибо сказать!

– Пасиб!

Продолжается обед.

– И что там Сережа, – говорит мама, – совсем плох?

– Удальцов-то? Ну, видимо, – папа вздыхает. – Если действительно столько дней на сухой голодовке, то это – необратимые изменения организма. Легкие ссыхаются, почки, печень...

– Гады! Если он умрет, то этой власти такое устроят!

– Да ладно... Кто устроит...

– Общество!

– А, обществу плевать. Ворчат, конечно, но это сытое ворчание безобидно. Так можно всю жизнь... Ворчи-ворчи хоть четверть века...

– Нет, Роман, – голос мамы начинает дрожать. – Нет, ты не прав! Люди кипят и только ждут повода, чтобы взорваться. Посмотри комменты к моим постам...

Мама часто говорит, что она суперблогер, и считает, что активность в интернете – это реальная сила.

– Вот увидишь, люди поднимутся!.. И я, конечно, желаю Удальцову здоровья, но если с ним что-то случится, то для власти это будет концом.

Папа усмехается.

– Да, да! – продолжает горячиться мама.

– Посмотрим… Кстати, другой Сергей звонил, хочет приехать вечером. Сейчас на каком-то митинге…

– Шаргунов, что ли?.. Пусть приезжает, естественно, хоть всё обсудим…

Настя приносит ошипанную корку.

– Это невкусное.

– Ну и не ешь. Брось в ведро. И руки помой с мылом, а то жирные… Пусть приезжает, – повторяет мама, обращаясь к папе, – позвони, скажи, ждем.

– А кто приезжает? – тут же подключается к разговору Настя.

– Дядя Сережа. Твой крестный.

– А-а, крё-остный… А он привезет чего-нибудь?

– Может быть… Иди руки помой и наведи у себя порядок.

«Крестный», – хмыкает про себя Даша. Да, сначала он хотел участвовать в крещении, но в назначенный день оказался где-то в поездке. На какой-то книжной выставке – он, как и папа, писатель, – и Даше пришлось носить годовалую, но уже тяжеленную сестру по крестильне. Даше было тогда девять лет. Она стала крестной мамой Нasti, а отцом записали дядю Сережу, заочно…

– Даш, поела? – вспоминает о ней мама. – Отдохни сейчас, а потом не забудь пьесы проиграть. И уроки доделай.

– Угу…

Даша встает, бурчит «спасибо», направляется к себе.

– Тарелку убери в раковину, – останавливает папа. – Масло в холодильник сунь.

Лоджия узкая, и по ней просто так не походишь. Сантиметров хотя бы на десять шире – было бы хорошо. По крайней мере, не боком двигаться… Но и так – ничего. Трудно теперь представить, как она жила в одной комнате с сестрой. Спали на двухэтажной кровати… Письменный стол и пианино на лоджию, конечно, не влезли, и часа два за ними, когда рядом шевелится еще человек, а тем более иногда пристает, находиться почти невозможно. А когда постоянно кто-то возле тебя…

Папа несколько лет на кухне писал, под мамину готовку, под шуршание пакетами, шум воды. И Настя к нему постоянно лезла, да и Даша, когда была маленькой. Хотя папа не жаловался, наоборот, говорил, что поэтому у него и получаются всем понятные рассказы и повести: «Умствовать некогда, стараюсь фиксировать только главное…»

Даша забирается на кровать, включает ноутбук. Его купили на четырнадцатилетие. Дорогой, почти тридцать тысяч, зато не тормозит почти, фильмы быстро загружаются.

Просматривает почту. Стопятьсот всяких ссылок. Чтоб всё пересмотреть, неделю сидеть надо. Явную чушню стирает, кое-что открывает… А вот письмо от Алины. Она живет в городке со смешным названием Сапожок. Это где-то в Рязанской области.

С Алиной Даша познакомилась в позапрошлом году на Кипре. Благотворительная организация «Благовест» отправляла туда многодетные семьи на отдых.

Раньше Дашина семья не считалась многодетной, так как брат Алеша был уже совершеннолетним. Но потом закон изменился, и многодетными стали считать семьи по младшему ребенку – пока он не достигнет восемнадцати лет.

И вот им выдали три путевки. Полетели Даша, Настя и мама. Десять дней провели там. Классно было. Апрель, а море уже теплое, номер большой, всё включено, еда вкусная. Экскурсии в горы, катание на осликах, детские дискотеки, бассейн… В общем, классно.

Группа была большая, и в основном дети из малообеспеченных семей, инвалиды. Некоторые вели себя как хулиганы или дебилы. Но кое с кем Даша на эти дни сдружилась. В том числе и с Алиной. Прощались в Москве, сдерживая слезы, обменялись адресами и телефонами. Но ни Даша, ни Алина ни разу друг другу не позвонили. И другие девочки и мальчики очень быстро забылись, да и сам Кипр стал чем-то вроде сна. Хорошего, приятного сна, но мало вяжущегося с действительностью... Летом папа возит их в Евпаторию, но там совсем не так, как на Кипре. Живут в съемных квартирах.

Потом Даша завела страничку «ВКонтакте», и вскоре там объявилась Алина.

Поначалу вспоминали Кипр, ребят, разные смешные случаи. Но скоро письма Алины стали всё грустнее и грустнее. «Не хочу здесь жить!.. Дыра вообще... До Рязани только два часа ехать... Хочу снова на Кипр или куда-нибудь отсюда...» Присыпает фотки – облупленные дома, почти руины, парни с тупыми мордами, лужи во всю улицу...

Сегодня даже не открыла письмо. И так настроение не очень. Да и мама наверняка вот-вот дергать начнет: «Давай заниматься».

– Пап, а ты куда? – голос Насти.

– В магазин.

– А-а! А купишь мне «Киндер-сюрприз»?

Папа что-то ответил тише, но, судя по интонации, утвердительно.

Даша позвала:

– Настя.

– Чего?

– Попроси папу еще «Альпен голльд» купить. Только – «Два шоколада».

– Ага! – Настя убежала; через полминуты вернулась и радостно затарабанила по клавишам пианино.

– Сказала?

– Да! Папа купит!

Среди ссылок заинтересовалася такая: «Врачи признали любовь болезнью». Стала читать:

«Отныне международный шифр этой болезни F63.9. Любовь отнесли к психическим отклонениям, к пункту «Расстройство привычек и влечений».

– Бред какой-то...

Покопалась в интернете, надеясь увидеть, что это на самом деле – бред, стёб, но обнаружила совсем другое: кучу подтверждений. Даже симптомы: «Навязчивые мысли о другом; резкие перепады настроения; завышенное чувство собственного достоинства; жалость к себе; бессонница, прерывистый сон; перепады артериального давления; головные боли; аллергические реакции; синдром навязчивой идеи».

Читая, Даша тут же обнаруживала многие признаки у себя... Да, часто думает о помощнике профессора Саше и еще о двух-трех ребятах, и настроение меняется резко, собственное достоинство наверняка завышено, себя жалко... И так далее, так далее вплоть до аллергии.

«По мнению ряда ученых, любовь можно сравнить с обсессивно-компульсивным расстройством».

Даша собралась было послать такую новость (что любовь – это болезнь) друзьям, но подумала и не стала. Не хотелось показывать, что она разделяет такое мнение... Болезнь... Может, и психическое заболевание, но, наверное, без него было бы пусто и скучно. Хотя... хотя и любовь тоже вряд ли дарит так уж много радости. С ней непросто жить день за днем.

Свое чувство к Саше она не может назвать любовью, но почти постоянные мысли о нем, волнение, когда она рядом с ним, мешают заниматься делами. Всё остальное кажется лишним, нелепым. Фагот, история, ноты, еда...

Чтоб сильно не загружаться, вернулась к себе на страничку, продолжила искать интересные письма.

В основном об актерах фильмов про Гарри Поттера (Даша до сих пор значилась среди поттероманов, хоть почти год как совершенно потеряла и к фильмам, и к книгам интерес), о «Сумерках», которые нравились ей всё больше... Обнаружилось и несколько ссылок на ролик последнего выступления группы «Pussy Riot». Даша открыла, посмотрела.

Три девчонки в разноцветных платьях и в шапочках-масках безголосо пели под жужжащую музыку на крыше возле какой-то тюрьмы. Даша разобрала лишь несколько фраз: «Веселая наука захвата площадей... Отбери у всех ментов автомат... Почувствуйте с нами запах свободы...» И – припев: «Смерть тюрьме, свободу протесту! Смерть тюрьме, свободу протесту!»

Везде политика в последние месяцы, все обсуждают скорые выборы президента, недавние выборы в Думу. Спорят, возмущаются. Повсюду какие-то митинги, акции. И интернет этим забит... Папа собирается тридцать первого числа пойти на Триумфальную площадь на митинг. А митинговать там не разрешают, задерживают, некоторых избивают... Мама то отговаривает папу – «а как мы здесь будем в новогоднюю ночь?» – то поддерживает и даже сама хочет идти.

Мама постоянно находит в интернете разные факты несправедливости, коррупции (Даша никак не может понять, что это слово обозначает), преступления, о которых почему-то не говорят; злится на засилье гастарбайтеров... Почти каждый вечер они говорят об этом. Часто мама призывает бороться, действовать, случается, утверждает: нужно уезжать. «Куда?» – стонуще спрашивает папа. «В Европу!» – «А там лучше? Я был в Берлине, в Кёльне, во Франкфурте, в Париже. Жить я там не хочу. Это уже не Европа». – «Но что же делать?! Нам нужно детей спасать!»

Иногда эти разговоры заканчиваются у них ссорами...

Движение в квартире. Видимо, папа вернулся.

Да, точно, – прибегает Настя с шоколадкой.

– На, бери!

– Спасибо.

– И мама сказала, чтобы ты со мной позанималась.

– Хорошо, иди готовься. Ноты найди.

Даша распечатывает шоколадку, отламывает два квадратика, бросает в рот. Торопливо досматривает почту. Одно, не открывая, удаляет, другое оставляет, чтоб почитать, посмотреть позднее. Если получится.

– Всё, я готова. Давай! – кричит Настя. – А то скоро «Смурфики» будут.

Занятия с сестрой – самое злящее. Почти каждый день повторяют одно и то же и будто в первый раз. Даша уверена: сестра специально делает вид, что не помнит, на какие клавиши какими пальцами нажимать, не умеет читать ноты.

– ...Теперь ми. Ми! Вторым пальцем. Где у тебя второй палец?

– Да-а-ш, не кричи.

– Я еще не кричу, – отвечает Даша и сама слышит, что начинает кричать. – Но ты ведь второй год на сольфеджио ходишь. Неужели нельзя запомнить?!

– Не кричи-и! – в голосе Нasti слышатся слезы.

– Давай играй – ми вторым пальцем.

Настя не может или не хочет найти ни второго пальца, ни ми. Тупо смотрит на клавиши, шевелит своими маленькими пальцами с черными от пластилина ногтями.

– Вот второй палец! – окончательно теряет терпение Даша. – А вот – ми! – Бьет по клавише.

– Не кричи-и-и! – И Настя начинает рыдать. Даша уверена, что она только этого и добивалась, чтоб не заниматься.

Приходит мама и напускается на Дашу:

– Неужели нельзя было хоть раз спокойно! Попросили тебя позаниматься!..

– Она не хочет заниматься, – пытается доказать Даша.

– Я-а... хочу-у!..

– Если бы ты хотела!..

Мама зовет папу. Папа морщится, словно у него болят зубы, скулы двигаются. Но он молчит... Поят Настю водой. Постепенно она успокаивается. И уже втроем, окружив пианино, кое-как помогают Насте разучивать этюд.

Минут через пятнадцать она играет сносно, но Даша понимает, что завтра сестра снова все забудет, точнее, сделает вид, что забыла, и всё начнется по новой.

– Ладно, – облегченно выдыхает мама. – На сегодня достаточно. Теперь Дарья проиграет свои пьесы.

– М-м...

– Давай-давай. Скоро дядя Сережа придет.

Даша пересаживается на табурет, начинает играть, а Настя включает телевизор. И чем Даша громче бьет по клавишам, тем сильнее прибавляет звук. В конце концов Даша не выдержала:

– Ты издеваешься?!

– Мне не слышно.

– А я не могу заниматься!

– А мне не слышно, что там говорят.

– Выключи быстро!

Настя соскочила с кровати, лицо ее стало страшным, она вскинула руки и запела:

– Вин-чан-чикс! Сила внутри меня! Сильная! Смелая! Энер-ги-я-а!

– Ну всё, хватит! Мам!

И снова общесемейная буча. Папа, ворча: «Какая тут, на хрен, работа... А потом денег требуют», увел Настю к себе. Мама опять накричала на Дашу, что не умеет общаться с сестрой.

– Ты ведь старшая! Неужели совсем ума нет никакого!..

Без всякого настроения сыграла все три пьесы по два раза и ушла на лоджию. Только погрузилась в интернет – звонок в дверь. Зная, что сейчас ее позовут, надела платье вместо майки и шортов.

– Да-аш, – добрый мамин голос, – иди поздоровайся! Дядя Сережа пришел.

Дядя Сережа, высокий, темноволосый, с выразительными подвижными бровями. Он пишет книги и занимается политикой. Время от времени Даша видела его по телевизору в разных ток-шоу – дядя Сережа что-то говорил о свободе, справедливости, о народе.

– А, – улыбнулся он Даше, – растем?

– Здравствуйте.

– Здравствуй-здравствуй...

– Проходи, – папа, по своему обыкновению, без особой приветливости пригласил его на кухню, где мама накрывала на стол; в руке у папы был тяжелый, видимо, дядей Сережей принесенный пакет. – Посидим. Водка, закуска, слава богу, имеется.

– А я пива принес и девочкам тортик.

– Пиво... – папа усмехнулся. – Знаешь поговорку? Кто пьет пиво и вино, тот...

– Знаю, – перебил дядя Сережа. – Я вообще разделяю лозунг: «Русский, кончай бухать».

– Хм, а как без бухла? Спятить можно от такой реальности.

– Вот это и удерживает от полного воздержания... Можно руки помыть?..

Настя уже за столом, нетерпеливо постукивает вилкой о тарелку. Папа достал из пакета бутылки «Туборг». Когда появился торт «Медовик», Настя выкрикнула «Иу!» и дернула вверх руку с вилкой, чуть не попав Даше в лицо.

– Ты совсем, что ли?!

– Ну извини.

— Так не извиняются. А если бы ткнула…

— Так, всё, перестаньте! — стала раздражаться мама. — Берите купаты, или вот сосиски есть…

— Я буду сосиски, — заявила Настя.

Купаты пахли и вкусно, и как-то противно, и Даша тоже выбрала сосиски. Гарниром был рис…

Пришел из ванной дядя Сережа, глянул на стол и одобрительно мыкнул. Сел на указанное мамой место. Папа поставил перед ним открытое пиво и бокал и стал наливать себе водку в рюмку. Спросил:

— Может, все-таки моего напитка сначала?

— Нет, я это. Тем более выпил уже пивка после митинга… Да, друзья мои, — дядя Сережа повысил голос, — побывал я на митинге, даже выступить позволили.

— И как?

— Честно говоря, толку особого в этих акциях я не вижу…

— А зачем выступал? — усмехнулся папа.

— Ну, надо же что-то делать.

— Ясно… Ладно, давайте накатим и поговорим. — Папа поднял рюмку. — За всё хорошее!

Мама поморщилась:

— Ты опять этот тост свой! Нельзя что-нибудь осмысленнее придумать?

— Это самый осмысленный тост. «За всё хорошее!» — тут столько смысла… Трансцендентность.

— За Россию! — выкрикнула Настя.

— Вот, — мама кивнула, — пятилетний ребенок и то…

— Всё, пьем, — перебил папа.

Звеньянули стеклом.

Даша не открыто, но внимательно наблюдала за дядей Сережей. Он ее немного смешил. Молодой парень на вид, нескладный, но симпатичный и старающийся выглядеть солидно, и в то же время какой-то застенчивый. То есть не знающий, как себя вести. Выражение его лица постоянно менялось — брови то сдвигались, то разлетались в стороны, и губы изгибались вверх, вниз; колючий взгляд мог через мгновение стать мягким и наивным… Даша была уверена, что дядя Сережа репетирует мимику перед зеркалом: когда она ходила в театральную студию, им задавали такие упражнения…

— Зюганов объявил тех, кто голоса воровал, госпреступниками, — рассказывал дядя Сережа, — пообещал, что они ответят. Гудков призвал объединяться… Смело всё, под стенами Кремля, и людей собралось прилично. Но — как в пустоту…

— Десятого числа был шанс что-то изменить, — вступил папа. — Там, на площади Революции. Если бы все эти сто тысяч остались стоять, то власть наверняка бы пошла на уступки.

— Да это понятно, — дядя Сережа вздохнул. — Впрочем, могло закончиться кровью.

— Ну и кровь бы не помешала. Отличный толчок.

— Как сказать…

— Да-да, Сереж, — быстро заговорила мама. — Когда бьют сотню людей, это, конечно, фигня. Ну, ты понимаешь… А если разгонять сто тысяч!..

— Если бы митинг был на Революции, еще не факт, что на него пришло бы столько.

— Пришло бы. Народ в тот момент был на грани. Хотел, чтобы его услышали. Как никогда в последние годы хотел. А его — на Болотную.

— Хм! — дернулся папа. — На Болотной могли и жить остаться, власти это не страшно — главное, что от Кремля ушли.

— Немцов этот подонок просто! — мама.

– Тем более, – стал папа развивать свою мысль, – народный протест, это цепная реакция. Услышали бы, что такая масса начала бессрочный митинг на площади Революции, и к ней через час еще сто, двести тысяч бы присоединились. Театральная, Манежная, Лубянка, – в голосе папы послышалась интонация, с какой он читал Насте на ночь сказки, – Тверская до Триумфальной запружены людьми...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.